

10367

Елпатьевскій.



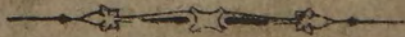
очерки сибиряков

ОЧЕРКИ СИБИРИ.

1) До Томска. — 2) Отъ Томска. — 3) Жиганы. — 4) Уголовные дворяне. — 5) Маскарадъ въ Тайгинскѣ. («Уголовные дворяне»). — 6) «Отлетаетъ мой соколикъ» (Изъ каторжныхъ пѣсенъ). Быль. 7) Савелій. (Изъ воспоминаній моего пріятеля). — 8. «Окаянный городъ». — 9) Абаканская степь.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

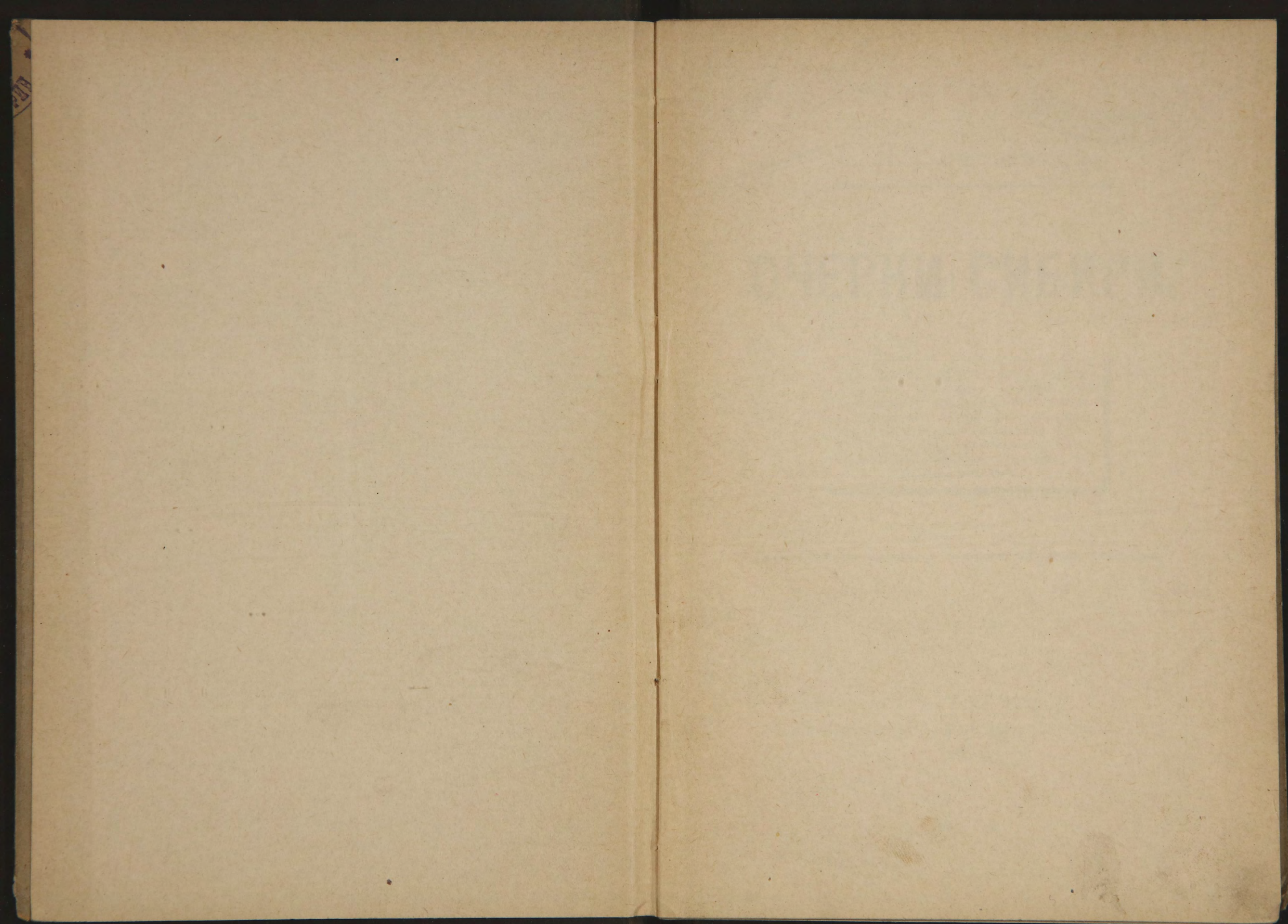
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА „Русское Богатство“.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая, 15.

1897.



10367

Очерки на Клеши



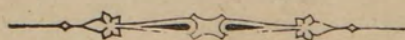
~~15357.~~

С. Я. Елпатьевскій.

ОЧЕРКИ СИБИРИ.

1) До Томска. — 2) Отъ Томска. — 3) Жи-
ганы. — 4) Уголовные дворяне. — 5)
Маскарадъ въ Тайгинскѣ. («Уголовные
дворяне»). — 6) «Отлетаетъ мой соко-
ликъ» (Изъ каторжныхъ пѣсень). Быль.
7) Савелій. (Изъ воспоминаній моего
пріятеля). — 8. «Окаянный городъ». — 9)
Абаканская степь.

2-ое изданіе редакціи журнала „Русское Богатство“.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая 15.

1897.



Ч. 1. 1. 1.

12

65960

ОТЪ АВТОРА.

Предлагаемые очерки печатались въ “Русскихъ Вѣдомостяхъ”, „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ и „Русской Жизни“.

Включая очеркъ „Савелій“ въ число сибирскихъ очерковъ, авторъ полагалъ, что этотъ рассказъ можетъ имѣть нѣкоторое значеніе для характеристики той жажды „воли“, которая присуща каждому арестанту и ссыльному и играетъ такую большую роль въ вѣчныхъ передвиженіяхъ бродячей толпы.

ДО ТОМСКА.

...Дорога въ Сибирь оказалась менѣе интересна, чѣмъ я ожидалъ. Уральскія горы не произвели на меня особеннаго впечатлѣнія. Волнистая линія горъ, обросшихъ щетинистымъ лѣсомъ пихтъ и елей, — вотъ и все. Темно, пожалуй, мрачно, но однообразно, такъ что впечатлѣніе получается тусклое. Быть-можетъ, въ этомъ виновато небо, — оно окутало горы хмурыми сентябрьскими тучами и моросить на нихъ мелкимъ унылымъ дождемъ. Только поѣздъ нашъ, словно черепаха, медленно взбирающійся по уклону горы, представляетъ, быть-можетъ, нѣчто оригинальное на этой дикой картинѣ. Но я горю желаніемъ видѣть Сибирь, мнѣ хочется поскорѣе разстаться съ поѣздомъ, и меня раздражаетъ этотъ рѣзкій свистъ паровоза, какимъ-то дикимъ хохотомъ врывающійся въ чащу угрюмыхъ елей. Мнѣ нравится эта вѣковая тишина дикихъ горъ, мнѣ жаль эти важныя молчаливыя деревья. Я знаю, это гремящее, пронзительно и страшно свищущее чудовище убьетъ ихъ и сниметъ иглистую одежду съ

туманныхъ горъ. Дальше и дальше, мимо расписанныхъ станцій, мимо Екатеринбурга,—хотя, къ слову сказать, очень хорошій и не шаблоннаго типа городъ,—мы за столбомъ, позади насъ Европа, впереди Азія. Я ждалъ какого-то особеннаго впечатлѣнія отъ этого столба. Ничего интереснаго въ столбѣ не оказалось, да и за столбомъ пока еще мало любопытнаго. Тѣ же поля, та же рожь, тѣ же «рассейскія»,—я теперь довольно чисто выговариваю это слово съ надлежащимъ акцентомъ,—лица. Только громадныя деревни съ прекрасными постройками, какъ-то не гармонирующими съ понятіемъ о мужицкой деревнѣ говорятъ тебѣ о сибирско-мужицкомъ царствѣ.

Въ Тюмени мы сѣли на пароходъ и двинулись по Турѣ. Ни Туры, ни Тобола, ни Иртыша я описывать не буду. Пусто, диковато, безлюдно—вотъ и все. Я, впрочемъ, не особенно занимался ими,—я ждалъ Оби. Меня чрезвычайно интересовала эта безбрежная рѣка, эта русская Амазонка, гдѣ бываютъ настоящія бури, разбивающія большія суда.

Мнѣ пришлось жестоко обмануться. Ничего печальнѣе, пустыннѣе и безпріютнѣе нельзя себѣ представить. Даже громадная масса воды не поражаетъ. Низкіе плоскіе берега, широкія песчаныя отмели, низкорослыя купы деревьевъ, какъ-то вдругъ вырѣзывающіяся изъ воды,—все это глушитъ и тушитъ широкую массу. Даже рѣки нѣтъ. Такъ не похожа эта разлившаяся масса воды безъ рѣзкихъ очерта-

ній берега на то представленіе, какое имѣется у
каждаго о рѣкѣ. Какъ будто пропитанная водой
губка-почва вылила на поверхность избытокъ своей
влаги, и эта болотная вода выступила безобразными
пятнами, разливаясь по низинамъ, обходя еле-еле
поднимающіяся плоскости и тихо катясь по уклону
своими мутными волнами. Некрасива эта сибирская
Амазонка съ вѣчно мутнымъ небомъ, съ однообраз-
ными унылыми лѣсами, съ восьмимѣсячною зимой,
съ тусклымъ лѣтомъ.

Чѣмъ выше поднимались мы къ сѣверу, тѣмъ
пустыннѣе и тоскливѣе казалась рѣка, тѣмъ ниже
становились лѣса, тѣмъ унылѣе берега. Изрѣдка выр-
вется крутой пригорокъ съ пріютившеюся на немъ
деревушкой, свѣтлою точкой промелькнетъ крестъ
церкви—и опять безлюдье, опять пустыня, опять
ѣдешь двѣнадцать-двадцать часовъ и не встрѣтишь
признаковъ человѣческаго жилья. Подойдетъ къ при-
стани, посвищетъ пароходъ какимъ-то пустымъ зву-
комъ, который тотчасъ же и замретъ на этихъ пу-
стынныхъ берегахъ; явятся откуда-то изъ лѣса 3—
4 человѣка таскать дрова, подплывутъ 2—3 лодки
съ остяками; опять печально посвищетъ пароходъ и
опять рѣжетъ онъ мутныя волны широкой рѣки.

Гнетущее впечатлѣніе производятъ эти остяки.
Представьте себѣ низкорослое существо съ большимъ
животомъ, съ четырехугольною, какъ-то сдавленною
головой, съ тонкими короткими ногами, на кото-
рыхъ раскачивается при ходьбѣ его неуклюжее тѣло.

За мужемъ плетется полуодѣтая жена его, подставляя открытую грудь холодному осеннему вѣтру. За ея спиной — люлька изъ берестяной коры, откуда между лохмотьями выглядываетъ блѣдное и одутловатое дѣтское личико. Они предлагаютъ связку стерлядей и требуютъ непременно «рупь», разумѣя подъ этимъ обширнымъ словомъ и мѣдный пятакъ, и серебряный двугривенный, и кусокъ черстваго хлѣба, и рваную рубашку, сослужившую долгую службу на плечахъ матроса, — двѣ наиболѣе, послѣ водки, соблазнительныя для остяцкой души мѣновыя стоимости. Они сюсюкаютъ, шепелявятъ, говорятъ тонкимъ, ослабленнымъ голосомъ; ни одной мужественной ноты, ни одного сильнаго звука не услышите вы отъ нихъ.

И все это вмѣстѣ: эта громадная Обь, эти плоскіе берега, эти плоскія и жалкія фигуры съ голосомъ скрипучей березы, — все это удивительно гармонизируетъ!

Я помню одинъ вечеръ. Мы стояли на пристани у Сургута. Надвигались сумерки: все было въ водѣ. Эта вода лилась съ неба мелкимъ сѣющимъ дождемъ, мутнымъ туманомъ поднималась съ широкой Оби, съ многочисленныхъ озеръ, болотъ и топей, раскиданныхъ по берегамъ, выползала изъ этой земли, кажется, вѣчно пропитанной влагою. И эти мутныя, ползучія полосы тумана тяжело стлались по землѣ, окутывали деревья и берега, и рѣку, и пароходъ, и землю, и небо, словно хотѣли превратить весь



міръ въ туманное пятно. Еле-еле виднѣлась вдали церковь Сургута.

Пронизывающая сырость заставила меня сойти съ парохода и пройти по берегу. На обрубкѣ дерева, противъ арестантской баржи, шедшей на буксирѣ за нашимъ пароходомъ и вмѣстѣ съ нами переживавшей туманъ, сидѣлъ старикъ, сургутскій житель, и разговаривалъ съ какимъ-то пассажиромъ нашего парохода про свое сургутское житье.

— Вотъ тебѣ и лѣто! И все такъ,—доносились до меня время отъ времени отдѣльныя фразы.—Гдѣ-гдѣ солнышко проглянетъ, и опять дождь. И круглый годъ такъ: либо мерзлота, либо мокрота.

— Звѣрь обижаютъ,—слышится мнѣ далѣе.—Исправникамъ ужъ на что, кажись, не житье, и тѣ не выживаютъ. Повертится годикъ и—дралова, и отъ доходовъ отступается.

— Россійскій, россійскій, — слышится мнѣ отъ старика на вопросъ пассажира.—Данковскіе были, Рязанской губерніи. Тридцать годовъ таскаюсь здѣсь. Вотъ къ пароходу-то и выхожу,—думаю, съ своей стороны кого нѣтъ-ли. Да вотъ ужъ годовъ пять, поди, никого не видалъ. Везли въ ту пору арестантика,—гуториль, внучку пропивали.

Долго молчали собесѣдники.

— Худо!—какъ глухой вздохъ послышался мнѣ голосъ старика. Старикъ дрожалъ и кутался въ свой дырявый азамъ. И опять, прерываемыя вздохами, медленно потянулись какія-то сырыя, зяблыя слова.

Старикъ подошелъ къ баржѣ и сталъ перекликаться съ арестантами, густо облѣпившими рѣшотку баржи.

— Такъ нѣту данковскихъ-то? — слышится мнѣ. — Земли-то? — снова слышится мнѣ голосъ старика, очевидно, отвѣтъ на вопросъ съ баржи, — вонъ ее земли-то, да толковъ-то что? Пропадать только...

И снова потянулася отрывистая рѣчь: оттуда — про російскую печаль, съ берега — про сибирскую, сургутскую...

Мнѣ давно хотѣлось поближе заглянуть на арестантовъ; я воспользовался случаемъ и выпросилъ у конвойнаго офицера позволеніе взойти на арестантскую баржу.

Представьте себѣ длинную и узкую барку, два конца которой заняты больницей и помѣщеніемъ конвойнаго офицера, стѣны палубы огорожены проволочною рѣшоткой и такими же дверями съ висячимъ замкомъ, у котораго постоянно стоитъ часовая.

Вся эта палуба въ данную минуту была занята ходившими и лежавшими на полу арестантами. Единственный фонарь съ сальною свѣчкой спускался съ потолка и тусклымъ, расплывающимся въ туманѣ кольцомъ освѣщалъ всю эту огромную массу людей.

Арестанты пѣли; пѣсня обрывалась.

— Лисицу! — раздались голоса, — и Ганьку нужно позвать: безъ нихъ не выйдетъ.

Притащили изъ камеры, помѣщавшейся подъ палубой, Лисицу—громаднаго рыжаго еврея съ всклокоченною бородой и острымъ, круто загибавшимся носомъ; привели Ганьку—тщедушнаго, совсѣмъ еще юнаго арестантика, съ длинною тонкою шеей; по требованію ихъ разыскали Мехмедку-черкеса и бродягу «Царя Македонскаго»; бразды правленія вручили «Дьякону», какъ называли этого регента арестанты.

Пошли большіе споры, что пѣть. Въ концѣ-концовъ, запѣли «Гвадалквивиръ». И вотъ стройная пѣсня полилась по огромной рѣкѣ.

«Гвадалквивиръ» былъ настоящій, какъ слѣдуетъ: было здѣсь и «скинь мантилью, ангелъ милый», и все, что полагается, хотя тутъ же было и «Ока не широка», «Москва не глубока». Еврей тянулъ высокою фистулой, Ганька пѣлъ нѣжнымъ дѣвичьимъ альтомъ, «Царь Македонскій» гремѣлъ октавой, «Дьяконъ» энергически встряхивалъ длинными космами русыхъ волосъ и высокимъ теноромъ, подымаясь на носкахъ, выводилъ верхнія ноты.

Этотъ «Гвадалквивиръ», лющійся съ арестантской баржи около Сургута, этотъ «Лисица», этотъ Мехмедка-черкесь со страшными (я не иронизирую) глубокими глазами, этотъ «Царь Македонскій» съ бронзовымъ лицомъ, перерѣзаннымъ шрамомъ, а кругомъ бритыя головы, сѣрые халаты, громыхающіе кандалы,—все это представляло такую картину, что мнѣ сдѣлалось жутко.

Спѣли еще два чувствительныхъ романса,—арестанты, оказывается, большіе любители романсовъ, сентиментальныхъ по преимуществу. Начали плясать. Плясали сперва подъ «барыню», потомъ «барыню» бросили, запѣли какого-то «барина». Я слышалъ только: «выйди, сударь, выйди, баринъ, погулять»... Плясалъ сначала старикъ съ молодымъ каторжникомъ. Старикъ изображалъ молодую деревенскую дѣвицу и художественно передавалъ стыдливыя манеры деревенской прелестницы, чѣмъ возбуждалъ всеобщій восторгъ публики. Все шло чинно и немножко вяло.

Но вдругъ, полунаклонившись и какъ-то вытянувши впередъ свои руки, ворвался молодой цыганъ въ освѣщенный фонаремъ кругъ... Онъ что-то крикнулъ пѣвчимъ, какъ-то гикнулъ горломъ и понесся. Интересно было смотрѣть, какъ моментально измѣнилось настроеніе арестантской массы. Толпа раздвинулась, пѣвшіе запѣли съ азартомъ учащеннымъ темпомъ, подхватили всѣ арестанты, загорѣлись лица. А цыганъ носился, запрокинувши голову назадъ и сверкая бѣлками своихъ широкооткрытыхъ глазъ. Онъ кричалъ, взвизгивалъ, разводилъ руками, какъ бѣшеный, носился по палубѣ, вдругъ моментально останавливался въ какомъ-то неправдоподобномъ положеніи и тихо, какъ-то истомленно-разнѣженно поводилъ плечами и перебиралъ каблуками сапоговъ.

Воодушевился и его компаніонъ — все тотъ же

молодой каторжникъ, высокій и стройный, съ бритой головой. Онъ также началъ выдѣлывать хитрыя колѣнца, причемъ, очевидно, пользовался своими кандалами, какъ музыкальнымъ инструментомъ. То тихо топтался на одномъ мѣстѣ, перебирая ногами, причемъ кандалы мягко терлись другъ о друга и довольно мелодично перезванивали, то выдѣлывалъ дробь — и кандалы звенѣли подъ громъ его каблучковъ, то крупными движеніями передвигался навстрѣчу цыгану — и кандалы его громыхали. Одушевленіе толпы дошло до высочайшей степени, когда каторжникъ пустился въ присядку, — какъ онъ при этомъ не упалъ, тайна для меня, — а цыганъ какими-то неслышными движеніями, словно отдѣляясь отъ пола, началъ описывать круги около присѣдающаго.

И потомъ все замерло. И опять поползъ холодный туманъ черезъ желѣзную рѣшотку, окуталъ свѣтлое пятно фонаря и поползъ въ арестантскія души... Поблѣднѣли и осунулись лица, потемнѣло смуглое лицо цыгана, сгорбился плясавшій каторжникъ, сѣрые халаты слились съ сырымъ туманомъ, несшимся съ рѣки...

Я вернулся на пароходъ. Вѣтеръ разогналъ мутный туманъ съ рѣки и сѣрые облака, покрывавшія небо. Взошла луна, холодная, какъ-то оскорбительно свѣтлая, и бросила волны бѣлаго свѣта на пустынную рѣку. Задрожали свѣтлые лучи на рѣчной зыби, побѣжали по мутнымъ волнамъ и свѣтлою полосой протянулись до дальняго бере-

га, — туда, гдѣ еле-видною точкой мерцалъ костеръ.

Такъ тихо, такъ пусто и холодно кругомъ... Мрачною стѣной угрюмо стоятъ прибрежныя ели, громадною массой, медленно и беззвучно, катить Обь свои тяжелыя волны.

Снова стучить пароходъ, снова лѣниво, словно нехотя, бьетъ своими колесами мутныя вол . Сырое, холодное утро. Мелкій, сѣющій дождь. Тусклое небо, тусклая рѣка, тусклые берега. Куда-то въ сѣрую, безграничную даль уходятъ за нами берега, откуда-то изъ тусклой, сѣрой дали выплываютъ навстрѣчу намъ все тѣ же низкіе, плоскіе берега. Куда мы идемъ? Зачѣмъ тянемъ за собой эту темную баржу, теперь молчаливую, какъ гробъ? Хотимъ ли мы лѣчить и оживить въ новой странѣ этихъ больныхъ, раненыхъ, искалѣченныхъ людей, или веземъ хоронить ихъ въ эту пустыню, гдѣ такъ скоро и такъ настойчиво является мысль о смерти? Что ждетъ этихъ пятьсотъ, запертыхъ въ желѣзной клѣткѣ, людей въ той развертывающейся передъ нами все шире и шире, необъятной, какъ море, холодной, сѣрой дали?...

ОТЪ ТОМСКА.

Мы за Томскомъ, на большомъ сибирскомъ трактѣ, въ тайгѣ,—той тайгѣ, которая ужъ самымъ названіемъ сулила мнѣ нѣчто новое, оригинальное.

Я и здѣсь обманулся. Правда, лѣсъ начинается отъ самаго Томска, но это даже не лѣсъ, а перелѣсокъ нашей Московской или Владимірской губерніи, и такимъ лѣсомъ я ѣхалъ болѣе сутокъ. Тѣ же жиденькія березки, та же осина, какіе-то неопредѣленнаго вида кусты; лишь изрѣдка встрѣтится ель или пихта—и все это спутанное, низкорослое, довольно рѣдкое, перерѣзанное топами и болотцами. Вырвется кусокъ овсянаго поля, промелькнетъ деревня и—опять этотъ скучный ни лѣсъ, ни кустарникъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ изъ этого тянущагося «ничто» мало-по-малу начинаетъ вырисовываться незамѣтно для васъ какое-то смутное впечатлѣніе. Этотъ идущій непрерывною полосой лѣсъ, это отсутствіе полей, эти рѣдкія, какъ-то прижавшіяся къ дорогѣ деревни — все это создаетъ впечатлѣніе чего-то огромнаго и пустого.

Какое-то царство лѣса, упорнаго, непредѣльнаго и расплывающагося лѣса, чувствуется вами, и, — я не умѣю выразиться лучше, — стѣсняетъ васъ, сжимаетъ ваши мысли и не даетъ имъ раскинуться шире, выйти изъ предѣловъ этого лѣса...

Между Мариинскомъ и Ачинскомъ нѣсколько измѣняется фizioномія мѣстности, повышается тонъ, рѣзче краски, суровѣе и выпуклѣе очертанія. Деревья сдвигаются плотнѣе, вытѣсняютъ лиственные породы и протягиваютъ къ самой дорогѣ свои иглистые лапы. Тамъ, впереди, гдѣ-то далеко-далеко, на синевѣ неба начинается вырисовываться волнистая голубая линія далекихъ горъ Восточной Сибири. Попадаются крутые холмы; дорога вьется между глубокими ложбинами.

Только между Ачинскомъ и Красноярскомъ предомной встала настоящая тайга, — встала могучая, суровая, темная. По нашимъ московскимъ и владимірскимъ лѣсамъ трудно себѣ представить, что такое тайга.

Пышнымъ зеленымъ букетомъ поднимается отъ земли нашъ сосновый лѣсъ. Онъ будто только-что сошелъ съ картины моднаго живописца съ своими кудрявыми вершинами, голыми красными стволами, широкимъ просвѣтомъ, словно аллеей для гулянья, и стоитъ, любуясь на себя, важный, величественный и эффектный. Темень и угрюмъ нашъ еловый лѣсъ, когда войдешь въ чащу его; но пройдешь нѣсколько верстъ, — пусть десятковъ верстъ, — и вый-

65960
дешь въ поле. Широкое кольцо зеленыхъ луговъ, колосистой ржи и свѣтлыхъ крестовъ деревенскихъ церквей опояшетъ угрюмый лѣсъ и смягчитъ его непривѣтный видъ. Я не говорю ужъ о южномъ лѣсѣ, съ его свѣтомъ, радостью и весельемъ. Словомъ, знакомый большинству насъ *лѣсъ*—нѣчто опредѣленное, законченное, окруженное полями и деревнями, охваченное *жилемъ*, покоренное человѣкомъ...

Въ этомъ смыслѣ тайга—не лѣсъ. Нужно представить себѣ, что мрачный, плотно сдвинувшійся лѣсъ протянулся до тундры, до моря... на тысячи верстъ; нужно вообразить, что можно пройти сотни верстъ, не встрѣтивши человѣка, что въ глубинѣ тайги человѣческая нога не бывала. Все темное, мрачное. Мохнатый угрюмый кедръ, сумрачная пихта, стройная пирамида ели, таежная красавица, мрачная и печальная красавица—лиственница. Изрѣдка мелькнетъ бѣлый стволъ березы; протянетъ къ свѣту свою перистую вѣтвь кривая рябина, какъ тянется за подаяніемъ рука нищаго ребенка между локтями взрослыхъ; притаится въ ложбинѣ задумчивая черемуха, окруженная, какъ малыми дѣтьми, кустами смородины и ежевики, и снова непрерывною полосой потянутся темныя иглы. Кое-гдѣ тайга раздвинулась, чтобы пропустить рѣку, раздалась, чтобы дать мѣсто какой нибудь сотнѣ, двумъ человѣческихъ жизней, и опять сомкнулась тѣснымъ кольцомъ, опять ревниво хранить свою тайну.

Именно тайна чувствуется въ глубинѣ тайги. Мнѣ

пришлось, долго спустя по приѣздѣ въ Сибирь, цѣлый день ѣхать верхомъ съ проводникомъ въ глухой тайгѣ. День погасъ, бѣлая сѣверная ночь спускалась съ неба, и полосы холодного, безжизненного свѣта вставали между деревьями. Въ тайгѣ ни звука,—тамъ не видно и не слышно птицъ, только изрѣдка коротко и глухо стучать копыта лошадей о древесные корни. Что-то загадочное, что-то таинственное и суровое чувствовалось въ этомъ странномъ колеблющемся свѣтѣ весеннихъ сумерекъ, въ этихъ неподвижныхъ молчаливыхъ деревьяхъ, строго и важно обступившихъ меня. Казалось, передо мной былъ храмъ, — суровый и мрачный храмъ, — гдѣ, какъ черезъ эти иглистыя вѣтви, медленно льется блѣдный свѣтъ сквозь узкія стрѣльчатые окна, гдѣ человекъ придавленъ къ землѣ высокими стѣнами, темными сводами, молитвенною тишиной, и только душа его, отрѣшенная отъ всего земного, возносится къ небу, — туда, куда несутся эти строгія линіи храма, эти острые шпили церковныхъ башенъ, эти темныя верхушки елей и пихтъ...

А бѣлая ночь широко простерлась надъ тайгой. Острый аромат пихтъ, кедровъ и лиственницъ, какъ чудный ѳиміамъ, стоитъ въ воздухѣ. Какъ блѣдные свѣтильники, мерцаютъ красныя жаркія и желтыя лиліи. Только нѣтъ молящихся,—храмъ пусть и безмолвенъ, развѣ изрѣдка словно вздохъ пронесется по тайгѣ, выростетъ, разойдется и снова замретъ гдѣ-то далеко, далеко. Да кукушка вдали печально

кричить свое «ку-ку», точно тамъ, въ глубинѣ храма, одинокій голосъ повторяетъ все одну и ту же односложную молитву—печальную, строгую, великопостную молитву.

Я не замѣтилъ, какъ чаще и чаще вздыхала тайга, и вздрогнулъ отъ неожиданности. Что-то громко охнуло вдали отъ меня, побѣжало по верхушкамъ, затрепетало надъ моею головой и понеслось дальше по тайгѣ. Глухимъ ропотомъ отозвался другой дальній уголь. Словно огромный, настраивающійся оркестръ, все громче и громче носились звуки по тайгѣ; только около меня по-прежнему молчаливо и грозно стояли деревья. Вотъ съ тяжелымъ стономъ зашатался огромный, цѣлою головой возвышающійся надъ тайгой кедръ, налетѣла буря и покрыла отдѣльные звуки,—тайга завывала. Я испытывалъ по-истинѣ чувство страха... Вы слышите, какъ гнѣвно и мрачно шумятъ близъ васъ стоящія деревья, но вы скоро забываете ихъ; оттуда, изъ глубины тайги, какъ изъ громадной пасти чудовища, подымается глухой непрерывный шумъ: это—тайга воетъ. И день и ночь, и еще день и ночь ѣхалъ я, и тайга все выла своимъ страшнымъ, угрожающимъ воемъ, все ревѣлъ расходившійся, растревоженный звѣрь.

Подъ эту воющую пѣсню я не могу не думать о тайгѣ. Мнѣ невольно рисуется въ этой сибирской тайгѣ человѣкъ — первый пришелецъ изъ Русской земли. Онъ принесъ съ собой оживленный шумъ и

вольный просторъ многоводной Волги, добродушную и широкую натуру русскаго человѣка, принесть свои пѣсни, свои легенды и сказки.

Онъ — въ тайгѣ, куда ушелъ одинъ, безъ семьи, на звѣроловный промыселъ. Тайга должна покорить его. Онъ дѣлается молчаливъ и серьезенъ. Въ тайгѣ не хочется смѣяться, и пѣсня не идетъ съ губъ человѣка, — она такъ странна въ мертвой тишинѣ этого угрюмаго лѣса и такъ безсильно замираетъ въ ревущей таежной пѣснѣ. Онъ не видитъ восхода и захода солнца: свѣтлый шаръ встаетъ изъ-за одной щетинистой стѣны и закатывается за другую, такую же мрачную стѣну, — вотъ и все, что онъ видитъ. И вездѣ, куда ни глянетъ глазъ его, онъ натывается на обросшіе мхомъ стволы, на иглы елей и пихтъ. Какъ его глазъ видитъ только деревья, такъ и его умственный взоръ суживается болѣе и болѣе, все труднѣе и труднѣе можетъ вырываться изъ предѣловъ этого сжимающаго кольца. Не поется пѣсня, не думается дума, не мечтается мечта. Глохнутъ старыя пѣсни, старыя легенды; тухнутъ старыя воспоминанія, глохнетъ даже голосъ.

Тайга — не храмъ для звѣролова, и онъ пришелъ не молиться. Кругомъ его борьба, — борьба не стихающая, непримиримая и неумолимая. Подстерегаетъ соболю зазѣвавшуюся птичку, падаетъ съ дерева кровожадная рысь на пробирающагося оленя и кабаргу, ломаетъ медвѣдь огромнаго сохатаго, а человѣкъ уничтожаетъ ихъ всѣхъ.

И этот борющийся человекъ долженъ быть вѣчно на-сторожѣ, вѣчно присматриваться и прислушиваться, — не хрустнетъ ли вѣтка подъ тяжестью лапы медвѣдя, не мелькнетъ ли голубая спинка песка. По мѣрѣ того, какъ онъ забываетъ человѣческую рѣчь, онъ выучивается звѣриному языку, — учится безошибочно узнавать крикъ птицъ и ревъ звѣря, понимаетъ манеры ихъ и, какъ тунгусъ, начинаетъ опредѣлять по слѣду, сердитый-ли медвѣдь, прошелъ или смирный. По мѣрѣ того, какъ отвыкаетъ отъ нравовъ человѣческихъ, онъ больше и больше привыкаетъ жить правами звѣриными. Онъ одинъ-одинешенекъ и долженъ полагаться только на себя. Съ него быстро сбѣгаютъ русское разгильдяйство и добродушная распущенность: онъ весь подбирается, подтягивается; его толстыя, расплывающіяся губы рѣзче складываются, крѣпче сжимаются; его глаза не смотрять открыто, а высматриваютъ изъ подлобья, выслѣживаютъ... Не дрогнетъ рука, не поблѣднѣетъ лицо, не забьется сердце отъ страха, когда неожиданно выльзетъ на него медвѣдь, и, ужъ конечно, не будетъ жалости къ этому медвѣдю.

Звѣроловъ вырывается, наконецъ, изъ тайги и съ добычей пришелъ къ себѣ въ семью, въ русскій поселокъ. Языкъ не такъ легко ворочается во рту, не такъ свободно слетають съ губъ слова нѣжности и любви. Онъ встрѣчается со своими друзьями-односельцами, — ему непривычно, онъ отвыкъ отъ

сколько-нибудь плавной рѣчи, и вотъ онъ говоритъ отрывочными предложеніями, на которыя его собесѣдники, такіе же только-что вернувшіеся звѣроловы, отвѣчаютъ такими же односложными фразами.

Замѣчательно характеренъ для сибиряка этотъ отрывистый разговоръ. Не рѣчистъ, не ходокъ на плавную рѣчь и нашъ русскій крестьянинъ, но онъ краснорѣчивый ораторъ въ сравненіи со здѣшнимъ крестьяниномъ, не смотря на то, что послѣдній развитѣе индивидуально, чѣмъ его зауральскій собратъ. И при томъ эта отрывистая форма разговора—не исключительная принадлежность крестьянства. Даже окончившіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ—и тѣ не мастера, не любители длинной рѣчи и предпочитаютъ обмѣниваться короткими и всегда посоленными острою солью сибирскаго юмора фразами. Поселенецъ, петербургскій лакей и франтъ, въ своемъ глубочайшемъ презрѣніи къ «челдону» основывается, между прочимъ, и на томъ, что онъ, челдонъ, и говорить-то не умѣетъ,—«точно лааетъ по-собачьи».

Звѣроловъ поживетъ извѣстное время дома, снова привыкнетъ къ людямъ и потомъ опять уйдетъ въ тайгу. И каждый разъ все большій и большій отпечатокъ будетъ класть тайга на человѣка. А пройдетъ пять, десять лѣтъ,—его уже будетъ тянуть въ тайгу, тайга заполонитъ его, онъ почувствуетъ на себѣ ту странную и могучую власть ея надъ

человѣкомъ, которую я наблюдалъ здѣсь, въ Сибири, на бродягахъ, на старикахъ-крестьянахъ, по году не выѣзжающихъ изъ тайги даже къ роднымъ въ деревню. Я знаю культурнаго человѣка, выдавашаго виды, который искренно говорилъ мнѣ, что не понимаетъ жизни безъ тайги.

Сынъ того звѣролова, о которомъ я говорилъ, ужъ только услышитъ про старыя мѣста и русскую жизнь. Онъ юношей начинаетъ ходить съ отцомъ «бѣлковать» и «соболевать», и на него, еще юношу, тайга налагаетъ свою неизгладимую печать. А дѣти и внуки этого сына теряютъ уже всякую связь съ Россіей, позабудутъ складъ ея жизни, ея вѣрованія, пѣсни, легенды, и будутъ думать, какъ думаютъ крестьяне въ Забайкальи, что Ермакъ завоевалъ ихъ предковъ, всегда жившихъ въ Сибири,—они превратятся въ сибиряковъ.

Не удивляйтесь, что я отвелъ такое большое мѣсто тайгѣ и такъ много наговорилъ о своемъ звѣроловѣ. Въ сущности тѣ двѣ-три тысячи верстъ, которыя я проѣхалъ по Сибири,—сплошная тайга, и огромная масса населенія Сибири и теперь живетъ приблизительно въ тѣхъ же условіяхъ звѣроловнаго промысла. Здѣсь не человѣкъ царствуетъ надъ природою, а природа надъ нимъ, и тайга какъ будто только позволяетъ на своихъ полянахъ раскинуться городамъ, а по оврагамъ и рѣчкамъ вытянуться селамъ и деревнямъ.

Странное впечатлѣніе производятъ сибирскія де-

ревни. Первое, что бросается въ глаза и рѣзко обособляетъ эти трактовья селенія отъ русскихъ— полное отсутствіе полей около нихъ. Почти прямо изъ тайги въѣзжаешь въ деревню, проѣзжаешь длинную улицу и опять упираешься въ тайгу. Ни овиновъ, ни сараевъ, въ большинствѣ случаевъ даже огородовъ не видно. Все это гдѣ-то тамъ, въ тайгѣ, на заимкѣ, — за пятнадцать, двадцать верстъ, — куда лѣтомъ перебирается крестьянинъ. Сжатая двумя стѣнами тайги, деревня вытянулась длинною лентой, двумя рядами домовъ по бокамъ дороги, и словно боится раздаться шире, боится заглянуть въ эту темную массу. На краю или въ центрѣ, но всегда нѣсколько изолированно, словно помѣщичья усадьба въ русской деревнѣ, стоитъ этапъ. Это— огромное для села деревянное зданіе съ широкимъ дворомъ, обнесеннымъ стѣной врытыхъ въ землю и заостренныхъ кверху бревень. Этапъ господствуетъ надъ деревней и кладетъ какой-то особенный, если можно такъ выразиться, этапный характеръ на самую деревню. А если вспомнить при этомъ, что эти деревни встрѣчаются почти постоянно чрезъ одинаковыя разстоянія 20—30 верстъ и часто даже расположены на неудобныхъ мѣстахъ, то поневолѣ начинаешь думать, что самыя эти деревни— только необходимыя принадлежности къ этапу и существуютъ для этапныхъ цѣлей. Кажется, впрочемъ, такъ и было въ дѣйствительности: трактовья деревни были назначены и заселены въ цѣляхъ

организациі ссылки и препровожденія арестантовъ.

Этапъ, дѣйствительно, въ кровномъ родствѣ съ сибирскою деревней, до извѣстной степени отецъ ея. Оригинальный ростъ этихъ трактовыхъ сель бросается въ глаза при первомъ поверхностномъ взглядѣ. Въ центрѣ деревни—большіе двухъэтажные и длинные, вытянувшіеся по улицѣ, одноэтажные дома, — старые, почернѣвшіе отъ времени и дождей, съ лавками внизу, иногда съ каменными кладовыми и всегда съ громадными крытыми дворами. Вездѣ широкое довольство, сытая обеспеченность,—полная чаша. Чѣмъ ближе къ краямъ, тѣмъ новѣе становятся дома, пока не закончатся низенькими избушками въ одно-два оконца, даже полуземлянками на концахъ деревни. Обитатели этихъ домишекъ—только-что покинувшіе этапъ питомцы его. Вы буквально видите, какъ годъ отъ году прибавляются новыя избушки поселенцевъ, какъ они шагъ за шагомъ отвоевываютъ мѣсто у тайги. И вотъ деревня вытянулась на семь верстъ, и кладбище, еще недавно бывшее за деревней, оказывается уже въ центрѣ ея.

Какъ разношерстны обитатели этапа, такъ же разнохарактерна и сибирская деревня. За оградой обточенныхъ бревенъ встрѣчается и еврей, и цыганъ, полякъ и малороссъ, кавказскій горецъ и нѣмецъ Остзейскихъ провинцій, и, наконецъ, русскіе всѣхъ губерній и всѣхъ сословій. Такая же

разнохарактерность замѣчается и въ деревнѣ, и не въ составѣ только населенія,—она сказывается въ постройкѣ, въ костюмахъ, въ говорѣ. Бокъ-о-бокъ стоятъ и двухъ этажный, какъ фонарь свѣтящійся окнами, домъ сибиряка-старожила, и полуземлянка уфимскаго башкира съ очагомъ, вмѣсто печки, и затянутыми пузырямъ, вмѣсто стеколъ, окнами. Вамъ встрѣтятся азамъ и бродни исконнаго сибиряка, и пиджакъ съ городскою шляпой, и татарскій бешметъ. И все это, очевидно, не слилось, не сжилось, не ассимилировалось вполне. Всякій, очевидно, живетъ еще своею отдѣльною, особняковою жизнью,—онъ не сибирякъ, хотя, впрочемъ, онъ и не тотъ, чѣмъ былъ до этапа. Хохолъ надѣлъ азамъ и бродни, запустилъ бороду; но стоитъ ему открыть ротъ—и настоящая Малороссія встанетъ передъ вами. Цыганъ еще не умылъ своей фizioноміи, полякъ не забылъ своего «панъ», но оба уже ругаются по-сибирски: «язви-те». Въ общемъ получается впечатлѣніе чего-то сборнаго, хаотическаго, еще не осѣвшаго.

Правда, когда проѣдешь подальше, побываешь во многихъ деревняхъ, поговоришь съ ямщиками, съ содержателями постоялыхъ дворовъ, гдѣ приходится останавливаться,—довольно скоро пріучаешься отличать исконнаго сибиряка и истинно-сибирское. Но и тутъ, при всемъ вниманіи, вы не откроете никакихъ проявленій творческаго народнаго духа, поскольку онъ выражается въ пѣснѣ, въ костюмахъ,

во всемъ житейскомъ обиходѣ. За все время дороги, да и потомъ, я не слыхалъ ни одной пѣсни, которая не была бы знакома мнѣ; незнакомыя же оказывались возмутительными продуктами этапно-поселенческой жизни.

Среди разнообразныхъ элементовъ, населяющихъ сибирскую деревню, нѣтъ только одного—русскаго. Этотъ выводъ не сразу явился у меня,—долго я чувствовалъ только, что чего-то недостаетъ въ Сибири; но когда этотъ выводъ явился, онъ поразилъ меня. «Русскаго» не видно и не слышно, Россіи не чувствуется въ Сибири. Среди разнокалиберныхъ построекъ вы не увидите только одного—обыкновенной русской избы средней лѣсной полосы Россіи; среди всякихъ костюмовъ вы не увидите поддевки и сарафана. Нѣтъ хороводовъ, нѣтъ русской пляски, нѣтъ говора русскаго, не слышно даже брани,—той брани, которая, я былъ увѣренъ, перейдетъ съ русскимъ человѣкомъ черезъ всякіе Уралы. Въ уличной толпѣ вамъ попадутся, очевидно, не туземныя, какія-то, такъ сказать, международныя, стертыя фizioноміи, обыкновенно бритыя, съ приниженнымъ выраженіемъ глазъ, но такихъ, о которыхъ было бы можно прямо сказать: «вотъ это русскій»,—вы встрѣтите очень рѣдко. Гдѣ же русскій? Куда дѣваются эти ежегодно лющіяся въ Сибирь волны русскихъ людей—ссылныхъ и переселенцевъ, торговыхъ и служилыхъ людей? На этотъ вопросъ я могъ отвѣтить себѣ только долго спустя, поживши въ Сибири,

и вопросъ этотъ настолько интересенъ во многихъ смыслахъ, что я поговорю о немъ впоследствии особо.

Какъ ни любопытно всматриваться въ сибирскую деревню,—все-таки дорога скучна и тосклива. Чужая земля, чужой воздухъ, чужіе люди, чужія рѣчи... Встрѣчаются, впрочемъ, и свои люди, но мало вносятъ они веселья въ дорожныя впечатлѣнія. По ту и другую сторону грязнаго, изрытаго шоссе выются многочисленныя тропинки,—то свои, русскіе люди проложили дорожки въ чужую сторону...

И вотъ узкою лентой далеко растянулась арестантская партія. Медленно плетутся сѣрые халаты, жалобно поскрипываютъ телѣги, на которыхъ сидятъ женщины съ грудными дѣтьми. Невесело встрѣчаетъ Сибирь своихъ гостей. Угрюмое, свинцовое небо тяжело повисло надъ головой; октябрьскій дождь холодными иглами сѣчетъ лицо и ледяною корой ложится на арестантскіе халаты; подъ ногами вязкая, полужастывшая грязь, изъ которой такъ тяжело вытаскивать кандалныя ноги; справа и слѣва злобно воющая тайга, по краямъ которой мѣрно двигаются штыки конвойныхъ. Только ребята вносятъ нѣкоторое оживленіе въ эту печальную группу. Какъ только перемежится дождь, они спрыгиваютъ съ телѣгъ, бѣгаютъ взапуски, кувыркаются на встрѣчающихся лужайкахъ и съ веселымъ смѣхомъ оцѣпываютъ запоздалыя кисти рябины, красныя ягоды шиповника и боярышника...

Глубокая зима глянула на меня, когда я выѣхалъ изъ Ачинска. Какъ все измѣнилось кругомъ! Окутанная снѣгомъ тайга затихла и стоитъ недвижимо, покорная и кроткая; безшумно скользять, словно плынуть, мои сани въ рыхломъ, еще не умятомъ снѣгу; мягко и какъ-то грустно звенить колокольчикъ; безчисленные пушистыя снѣжинки кружатся въ воздухѣ и медленно, какъ будто въ какомъ-то раздумьи, ложатся на землю, словно колеблющійся бѣлый саванъ тихо спускается съ неба на умирающую землю.

Еще нѣсколько сотъ верстъ, и я пріѣхалъ на мѣсто. Засыпанный четырехъаршиннымъ слоемъ снѣга, окруженный тѣснымъ кольцомъ безпредѣльной тайги и окаймленный лишь съ одной стороны широкою пеленой Енисея, мой городокъ выглядѣлъ мирнымъ, уютнымъ, хотя и нѣсколько глухимъ угломъ.

Глубокая Сибирь чувствуется на каждомъ шагу. Вотъ лохматая собака въ упряжи, какъ истый рысакъ, лихо катитъ маленькія санки съ возсѣдающимъ на вязанкѣ дровъ мальчишкой. Дохи и дохи безъ конца, начиная отъ изящной изъ молодыхъ оленьихъ шкурокъ съ собольимъ воротникомъ дохи мѣстнаго богача и кончая мохнатыми, сохатинными и даже собачьими дохами, въ которыхъ ѣдутъ мужики и бабы на базаръ. Сіяющая сибирская зима въ полномъ разгарѣ. Мертвая тишина въ воздухѣ. Прямыми, высокими столбами, играя въ солнечныхъ

лучахъ, поднимается къ небу дымъ изъ трубъ. Снѣгъ не скрипитъ, а визжитъ подъ полозьями, какъ трущееся другъ о друга желѣзо. Сорокоградусный морозъ обжигаетъ лицо...

ЖИГ А Н Ы.

I.

Сегодня въ честь 1-го мая я выставилъ раму и открылъ окно. Какое чудное утро! Грудь не можетъ надышаться, глаза насмотрѣться. И лучше всего въ этомъ утрѣ красавецъ Енисей. Три дня бушеваль онъ, три дня безобразныя льдины огромными горами, съ шумомъ и грохотомъ лѣзли на берега. Теперь эти горы стоятъ неподвижно, блестя на солнцѣ своимъ бѣлымъ снѣгомъ и синими льдинами. Какъ огромное синее небо, огромный и синій разлился Енисей и стоитъ—словно замеръ. Тамъ, высоко, среди синяго неба, медленно плыветъ длинная вереница бѣлыхъ, прозрачныхъ облаковъ; то, быть-можетъ, они опрокинулись въ воду и бѣлыми блестящими льдинами беззвучно и тихо плывутъ по срединѣ рѣки—туда, въ уходящую синюю даль...

Что-то великое и могучее пробуждается кругомъ, будто дышетъ кто-то огромнымъ дыханіемъ. Зеленѣютъ свѣжими побѣгами темныя верхушки суро-

вой тайги; вся свѣтлая, стоитъ и трепещетъ зелеными листочками бѣлая березка; тяжелымъ ароматомъ пахнетъ бѣлая отъ цвѣта черемуха. Стая за стайей, непрерывною вереницей тянутся утки, съ крикомъ летятъ черезъ рѣку дикіе гуси; бѣлые лебеди, какъ снѣгомъ, покрыли полузатонувшій островъ. А огромное солнце встаетъ все выше, разгорается все ярче и радостнымъ свѣтомъ заливаетъ и бѣлый островъ, и синія льдины, и темную тайгу съ блестящими пятнами снѣга.

На солнцекѣ, у гостепріимныхъ дверей «Берегового» кабака, прямо противъ моихъ оконъ, сидятъ и лежатъ жиганы. Какъ сурки послѣ зимней спячки, они вылѣзли изъ своихъ норъ и въ первый разъ собрались на свой форумъ, съ котораго не сойдутъ все лѣто. Въ этомъ сіяющемъ свѣтѣ утра ихъ желтыя и зеленныя лица кажутся не такъ желты и зелены и ихъ рваная «лопотъ» не такъ кажется грязна и несчастна. Почти весь прошлогодній парламентъ въ полномъ составѣ.

Вотъ знаменитый базарный юристъ съ сѣдою сократовскою бородой. Тутъ же въ «Береговомъ» его контора, и тамъ онъ пишетъ свои прошенія, которыя, по общему мнѣнію базарной публики, могутъ всякаго переселенца обратить въ «первобытное состояніе», т. е. возвратить ему права и родину. Вотъ базарный лѣкарь съ изрытымъ оспой лицомъ, серьгой въ ухѣ, лихими крашеными усами и выбритымъ по-солдатски затылкомъ. Онъ таксировалъ человѣ-

ческую кровь и выпускаетъ ее, по желанію паціентовъ, порціями—отъ гривенника до рубля, что даетъ ему хорошія деньги, а свиньямъ его квартирной хозяйки—большія лахани крови. Тутъ же «Копчикъ», душа жиганскаго общества, спеціалистъ по всѣмъ спеціальностямъ и литераторъ по части просительныхъ посланій къ обывателямъ, подвижная фигурка съ бѣгающими глазами и вороватымъ лицомъ. Тутъ вся жиганская знаменитость.

Безмолвные и неподвижные лежатъ и сидятъ жиганы и видимо блаженствуютъ. Только Ванька Безпечальный стоитъ. Я вижу его круглую, какъ шаръ, словно точеную голову съ коротко подстриженными, черными съ сѣдиной, волосами. Грязные пальцы выглядываютъ изъ разорванныхъ резиновыхъ калошъ, правый рукавъ пиджака полуоторванъ, и красное иззябшее тѣло свѣтится на солнцѣ. Лица мнѣ не видно,—Ванька оборотился къ рѣкѣ и поетъ арію изъ «Трубадура». Надтреснутый и хриплый, но все еще сильный голосъ одиноко звенить въ безмолвномъ воздухѣ. Ванька прижимаетъ руки къ сердцу, становится въ гордую позу, протягиваетъ съ мольбой руки,—онъ, очевидно, на сценѣ и огромный Енисей съ синими льдинами—его публика. Вотъ онъ поетъ другую арію, поднимаетъ глаза къ небу и поетъ бѣлому облаку, какъ дамѣ своей. Трепетные и нѣжные звуки итальянскихъ арій такъ странно и потому, быть-можетъ, такъ трогательно несутся по широкой поверхности рѣки. Хохоть раздается

въ кучкѣ жигановъ,—Ванька не вытянулъ высокой ноты и хрипло, какъ лопнувшая струна, оборвалъ свою арію. «Не выдюжилъ Ванька,—говорять кругомъ,—а ловко, подлецъ, поетъ! Ванька! А Ванькѣ!» Но Ваньки не видно,—онъ въ кабацѣ. Его отсутствіе, впрочемъ, не долго продолжается. Дверь кабака шумно растворяется, и Ванька при содѣйствіи дружеской руки цѣловальника летитъ кубаремъ въ грязную лужу.

Онъ идетъ мимо моихъ оконъ, оборванный, грязный, и сердито бормочетъ себѣ подъ носъ. Скоро хохотъ и крики, раздавшіеся на берегу, привлекли мое вниманіе.

Проходя мимо набитого лодками устья маленькой рѣчки, тутъ же впадающей въ Енисей, Ванька увидѣлъ плававшій между лодокъ великолѣпный и почти вовсе новый ящикъ изъ-подъ карамели. Боясь, чтобы его не предупредили, Ванька бросается въ лодку, но пьяныя ноги не могутъ удержать его, и онъ падаетъ въ воду. Устье рѣчки глубоко, а Ванька не умѣетъ плавать. Толпа мѣстныхъ жителей стоитъ на берегу и грохочетъ. Ванькина голова показывается надъ водой и руки судорожно схватываются за борта лодокъ, но легкія душегубки перевертываются, и Ванька снова погружается въ воду. Я бросаюсь внизъ и бѣгу на берегъ. Публика реветъ отъ хохота. Посинѣвшее, почти черное лицо Ваньки время отъ времени показывается надъ водой и бессмысленно ворочаетъ бѣлками глазъ. Ру-

ки уже не хватаютъ за борта, а безтолково бьютъ по водѣ.

— Вы чего стоите?—набрасываюсь я на толпу.— Вѣдь человѣкъ тонетъ!

— Это Ванька-то?.. Что вы, баринъ, развѣ Ванька потонетъ?

Нѣсколько человѣкъ, тѣмъ не менѣе, кидаются за мной въ лодки и съ величайшими усиліями, — Ванька съ упрямою настойчивостью пьянаго не выпускаетъ ящика, — вытаскиваютъ его на берегъ. Грохотъ смѣха встрѣчаетъ его на берегу.

— Ахъ, будь ты проклять! Хо-о-рошъ! Ишь, язви его, не утопъ вѣдь!!!

Ванька съ синимъ лицомъ и льющимися потоками воды фыркаетъ и встряхивается, какъ селезень. Кто-то даетъ ему гривенникъ, и Ванька, сверкая пятками, — калоши остались въ рѣкѣ, — и не выпуская изъ рукъ драгоценнаго ящика, устремляется въ «Береговой», преслѣдуемый гамомъ и хохотомъ расходящейся толпы.

Я не могу оторваться отъ окна. Рынокъ оживляется. Являются хозяйки, пріѣзжаютъ одноколки изъ окрестныхъ деревень. Устье рѣчки, единственно свободное отъ льда, все болѣе и болѣе наполняется лодками, — то рыбаки ведутъ на веревкахъ большихъ осетровъ, стерлядей, тайменей.

Плывутъ съ Ангары илимки *), кажушіяся изда-

*) Крытыя большія лодки.

ли, съ своими огромными парусами изъ синей дабы, темными птицами. Вотъ въ кучкѣ народа, цѣлый день толпящагося на берегу, замѣтно оживленіе. Изъ-за острова, какъ бѣлая бревенчатая изба, выплываетъ судно. Нелѣпая по своей неуклюжей постройкѣ, «посудина» кажется даже красивою въ этотъ прекрасный день. Мнѣ слышно издали, какъ скрипятъ и бьютъ воду громадные, неуклюжія весла подъ дюжими руками сплавщиковъ. Красныя рубашки должно-быть російскихъ людей мѣрно наклоняются и не то съ пѣсней, не то съ какимъ-то уханьемъ налегаютъ на весла и руль. Оживленіе на берегу растетъ.

Первая барка съ хлѣбомъ встрѣчается, какъ давно желанная гостя.

На берегу показываются экипажи, между ними снуютъ отрѣпанныя фигуры жигановъ,—работа наклевывается. Барка пристала, устраиваются сходни. Берегъ совсѣмъ оживаетъ,—начинается лѣтній береговой сезонъ Тайгинска.

Тихо спускается вечеръ на землю. Пламенное солнце медленно, словно нехотя, тонетъ въ широкой излучинѣ Енисея и долго еще расплавленнымъ золотомъ горитъ на огромной поверхности рѣки. Жиганы тамъ же, у «Берегового». Они не кричатъ и не хохочутъ,—тихій говоръ несется изъ ихъ кучки.

Солнце низенько,
Вечеръ близенько...

доносится до меня. Поетъ, незнакомый мнѣ раньше, худой и высокій жиганъ въ арестантскомъ халатѣ, полуспущенномъ съ плеча. Противъ него на обрубкѣ дерева сидитъ другой жиганъ и аккомпанируетъ на гитарѣ.

Солнце совсѣмъ потухло и унесло съ собою весь свѣтъ, всю радость и веселье дня. Потускнѣло синее небо, потемнѣла сіяющая рѣка, и темная тайга подошла ближе и стала еще темнѣе, а безобразные силуэты льдинъ выросли и обступили словно привидѣнія, стерегущія рѣку,—на меня глядѣла та дикая и суровая пустыня, отъ которой такъ тяжело, такъ жутко на душѣ.

А малороссійскія пѣсни, такіа нѣжныя и грустныя, одна за другой дрожатъ въ воздухѣ:

Ты думаешь, моя мати, что я не журюся,
А якъ выйду за ворота, видъ вітру валюся.

Струны гитары звенятъ все тише, а мягкій, задушевный голосъ звучитъ все мягче и задушевнѣе:

Ты думаешь, моя ненько, що я и не плачу,
За дрибными слизоньками стежечки не бачу...

Зазвенѣла струна и замолчала, дрогнулъ и замеръ голосъ. Все тихо, безмолвно кругомъ, только молящіе и плачущіе звуки все еще звенятъ въ воздухѣ и, кажется мнѣ, съ мольбой и плачемъ несутся въ широкую пустыню.

Жиганы расходятся. Двѣ фигуры идутъ мимо моихъ оконъ къ устью рѣчки, гдѣ стоитъ барка.

— Гондолерьъ, подавай мою гондолу!—слышится мнѣ голосъ одного.

Опрокинутая вверхъ дномъ гондола лежитъ на берегу, привѣтливо приподнимаетъ край и принимаетъ гостя подъ свой кровъ.

— «Я замокъ предковъ обрѣтаю вновь!»—декламируетъ другой голосъ, и церковная паперть поглощаетъ его.

Все тихо и тускло кругомъ, только огонь на баркѣ разгорается все ярче и ярче. Сплавщики варятъ уху. Красныя рубашки, красныя лица ярко выступаютъ въ свѣтѣ костра. Все русскія лица. Только одинъ сойотъ съ бронзовымъ лицомъ и заплетенными въ мелкія косички черными, какъ смоль, волосами сидитъ въ кругу, обхвативши руками колѣна и мѣрно раскачиваясь въ тактъ пѣсни. Давно, давно не слышанная «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ» такъ чудно и прекрасно носится въ тишинѣ замолчавшей ночи.

Шесть человѣкъ поднимаются по сходнямъ на барку, — я знаю, это мѣстные жители, любители пѣнія, пришли попѣть съ «россійскими» людьми. Поютъ все русскія пѣсни. Костеръ горитъ ярко, по рукамъ ходитъ фляга, принесенная гостями. Вотъ гости одни запѣли свою мѣстную пѣсню:

Я лечу подъ парусами,—

разбираю я отдѣльныя строфы,—

Между горъ и средь лѣсовъ,
Вслѣдъ за бурями и льдами.
Богъ—мой щитъ и мой покровъ.

Съ Ангары до устьевъ моря
Вижу дикія страны.
Нѣтъ тамъ радости, нѣтъ горя—
Образъ вѣчной тишины.

Въ тундрахъ нѣтъ зеленой сѣни,
Нѣтъ тамъ ночи, нѣтъ зари,
Лишь мелькаютъ тамъ, какъ тѣни,
По утесамъ дикари.

Долго, долго тянется оригинальный, унылый, церковнаго характера мотивъ и странно звучать одушевленные и сильные, но дикіе и рѣзкіе голоса. Минутами мнѣ, право, кажется, то—ели скрипятъ и кедръ гнутся.

Гости ушли, фляга пуста, костеръ еле мерцаетъ. Безсвязные, охрипшіе голоса поютъ разноголосыя пѣсни. Наконецъ, умолкаютъ и они, только сойотъ все въ той же позѣ, охвативши руками колѣна и мѣрно раскачиваясь, поетъ свою безконечную пѣсню. Дикіе, какіе-то ржавые, скрипучіе звуки вылетаютъ изъ горла и рѣзкимъ диссонансомъ будятъ воздухъ.

Я совсѣмъ засыпалъ, когда крики понеслись съ барки. При свѣтѣ снова вспыхнувшего костра на баркѣ и сходняхъ виднѣлись бѣгавшія и преслѣду-

емыя сплавщиками отрепанные фигуры. То жиганы работают...

II.

Глубокая зима. Уже вторая недѣля—морозъ за 40 градусовъ. Помню, рано утромъ меня разбудилъ шумъ изъ кухни. Я вышелъ. Прижавшись къ косяку двери, стоялъ Ванька. Онъ былъ ужасенъ. Налитое кровью, темно-багровое отъ мороза лицо, казалось, готово было лопнуть. Корки раньше отмороженныхъ мѣстъ и новыя бѣлыя пятна покрывали носъ, щеки и уши. Особенно были ужасны ноги—распухшія, почти голыя, въ рваныхъ резиновыхъ калошахъ. Онъ весь дрожалъ въ своей изодранной до послѣдней степени какой-то бабьей кацавейкѣ. Кухарка выталкивала его вонъ, а онъ продолжалъ дрожать, тупо озираясь на ея окрики и протягивая свои иззябшія руки къ пылавшему жерлу печки. Что-то безконечно жалкое и несчастное чувствовалось въ этой рваной, распухшей и дрожащей фигурѣ, въ тупомъ, одичаломъ взглядѣ безсмысленныхъ глазъ.

При моемъ входѣ, онъ торопливо, словно боясь, чтобы его немедленно не выгнали, вынулъ изъ-за пазухи сложенную четвертушку бумаги и протянулъ мнѣ.

— Что это?—спрашиваю я.

Ванька молчитъ и только тычетъ пальцемъ въ бумагу.

«Всемиловѣйшій покровитель!—читаю я посланіе.—Какъ будучи холодной судьбой заброшенъ въ этотъ негостепріимный край и притомъ обремененный въ пути недугами, обращаюсь къ вамъ, милостивый государь, какъ къ дворянину, не будете ли столь благосклонны оказать несчастному челоуѣку возможную по вашимъ средствамъ и доброму сердцу помощь. Мы писали въ свои мѣста нацѣтъ денегъ и какъ наши родные при своемъ состояніи вышлютъ, мы вамъ отвѣтствуемъ съ благодарностью.

«Потомственный почетный дворянинъ»... Вмѣсто подписи мудреный росчеркъ.

Я прочелъ письмо и взглядываю на Ваньку Ванькины глаза безпокойно бѣгаютъ по кухнѣ.

— Что на сапоги буркалы-то пялишь?—огрызается кухарка. — Жиганье проклятое! Попадись только,—полѣномъ прошибу башку-то! И вы-то, баринъ,—укоризненно обращается она ко мнѣ,—всякую дрянъ до себя допускаете!

Долженъ признаться, что Ванькины глаза особенно привлекаютъ стоящіе у двери только-что вычищенные сапоги мои.

— Это Копчикъ писалъ?—спрашиваю я. Я знаю, что Копчикъ главный писатель той трущобы, въ которой живетъ по зимамъ Ванька.

Ванькины глаза слятся остановиться на мнѣ и губы хотятъ улыбнуться.

— Никакъ нѣтъ...—бормочетъ онъ.—Пріѣзжіе, изъ дворянъ будутъ... По несчастію...

Ванька снова лѣзетъ за пазуху, вынимаетъ новую четвертушку бумаги и протягиваетъ мнѣ.

— Постояльцу, — говоритъ онъ, — господину оператору.

У меня на квартирѣ жилъ знакомый врачъ-хирургъ, недавно пріѣхавшій изъ Россіи.

«Украшенному добродѣтелями купцу Іоанну Антоновичу Голыхъ», читаю я адресъ и возвращаю письмо Ванькѣ.

— Это не постояльцу.

Ванькино лицо выражаетъ недоумѣніе, онъ вынимаетъ изъ-за пазухи пачку писемъ, долго роется и подаетъ новую бумажку. Письмо длинное, передаю его точную копію. Вверху значится:

Свобода!

Равенство!

Братство!!!

«Многоуважаемый господинъ

Апираторъ!

«Прошу васъ помочь подателю сей записки, если позволить Вамъ Ваша наука и опытность. Ваша популярность растетъ среди простова народа. Какъ видно ввасъ еще не потухла та искра котора заставила васъ какъ и многихъ другихъ покинуть родной край и уйти въ далекую и гостепріимную Сибирь. Обращаюсь къ вамъ просьбой нетли у васъ газетъ и журналовъ или книгъ которы вы могли бы послать навремя для прочтенія сподателемъ сей записки я ихъ по прочтеніи обращу къ вамъ за что я буду вамъ очень благодаренъ потому что живя

вглуши Сибири я ужъ болѣе четырехъ лѣтъ неимѣю возможности следить не только затемъ, что дѣлается въ мирѣ и на политическомъ Горизантѣ но даже и развлечь себя подумаю

Что!!!

«Заря свободы наступаетъ и издали ужъ виденъ светъ угнетеннымъ Бробуждающаго утра Радостный разсветъ»...

Далѣе идутъ двѣ строчки многоточій съ восклицательнымъ знакомъ въ концѣ, затѣмъ длинная черта и продолженіе:

«И еще какъ вы признаете нащеть діэты. Тоже и носильнаго белья и платья. Если вы вообще и Софья Александровна нащеть рубашекъ и штановъ и на пудъ муки сему бѣдному старику.

«Затемъ остаюсь навсегда доброжелательствующій вамъ вообще и Софье Александровне и готовый къ вашимъ услугамъ если будетъ надобность (последнія три слова подчеркнуты) навсегда скрывшійся отглазъ шумнаго света поселенецъ студентъ Кыевскаго математическаго университета»...

Опять вмѣсто подписи хитрый росчеркъ.

— Ты чѣмъ боленъ?—спрашиваю я Ваньку.

«Бѣдный старикъ» былъ, очевидно, не приготовленъ къ вопросу и занимался разсматриваніемъ мѣдной полоскательной чашки, очень близко стоявшей отъ его локтя.

— Лежать они...—заговорилъ было онъ и сконфузился. Онъ старается смотрѣть мнѣ въ глаза, но

чашка, очевидно, гипнотизируетъ его, и глаза упорно косятся въ ея сторону.

— Дай ему стаканъ водки, да закусить чего-нибудь, пусть обогрѣется. — Я предчувствую протестъ кухарки и говорю строгимъ, не терпящимъ возраженій голосомъ. — Докторъ спитъ, — говорю я Ванькѣ, — зайди въ другой разъ... Да, — вспоминаю я, — ты скажи Ивану Копчику, зачѣмъ онъ у меня коверъ стащилъ? — Я отлично разсмотрѣлъ юркую фигуру Копчика, убѣгавшаго съ ковромъ въ рукахъ отъ моей кухарки.

Бѣлки Ванькиныхъ глазъ начинаютъ какъ-то странно вертѣться, вся фигура изображаетъ протестъ.

— Не наши... — бормочетъ онъ. — Чтобы мы да у вашего благородія...

Мнѣ скоро пришлось вернуться въ кухню, — тамъ поднялся страшный шумъ. Оказалось, Ванька упорно не хотѣлъ уходить. Иззябшій и голодный, онъ опьянѣлъ отъ стакана вина, — его лицо сіяло, какъ мѣдный шаръ, и весь онъ имѣлъ побѣдоносный видъ.

— Господинъ, стаканчикъ бѣдному артисту! — Ванька ласково подмигнулъ мнѣ, но тотчасъ лицо его приняло свирѣпое выраженіе.

— Варнакъ Копчикъ! Паль Степанычъ полштофъ ему далъ за коверъ-то, одинъ вылокалъ — песь! Мы ему еще шею наcostыляемъ! Вы у насъ, можно сказать, первый господинъ въ городѣ, — я вотъ какъ понимаю.

Ванькино лицо снова приняло ласковое выражение.

— Келькъ шозъ аржану, господинъ, а?..—и неожиданно запѣлъ: «На землѣ весь родъ людской...»

— Што хайло-то раствориль? Ребятъ перебудишь,—набросилась на него кухарка.—Ну, ну, проваливай!

— Съѣла?—съ торжествомъ остановился въ дверяхъ Ванька, показывая полученную отъ меня серебряную монету.—Господинъ понимаетъ благородное обхожденіе. А ты—мразь, челдонка желторылая!

Ванька сдѣлалъ неприличный жестъ и скрылся. Я слышалъ, какъ что-то загремѣло ему вслѣдъ по лѣстницѣ.

III.

Кто онъ? Онъ—Ванька Безпечальный. Даже и тогда, когда онъ былъ чѣмъ-то, онъ прежде всего былъ Ванькой Безпечальнымъ. Провинціальный артистъ опереточной труппы, 15 лѣтъ назадъ онъ сдѣлалъ какое-то уголовное преступленіе, за которое былъ сосланъ съ лишеніемъ правъ въ Восточную Сибирь. Его судьба опредѣлилась сразу,—съ того момента, какъ онъ попалъ въ острогъ.

Здѣсь не мѣсто останавливаться настолько подробно, какъ мнѣ хотѣлось-бы, на томъ огромномъ вліяніи, которое имѣютъ на человѣка острогъ и арестантская партія. Все это вмѣстѣ взятое есть огромная, жестокая машина, острые зубья которой

безпощадно стирають въ чловѣкѣ всякіе углы, все индивидуальное, обособленное,—національность, сословіе, религію, манеры, привычки, даже различіе пола. Это—среда, гдѣ первое мѣсто занимаетъ только сила характера или кулака и гдѣ не обладающіе ни тѣмъ, ни другимъ дѣлаются «шпанкой», стадомъ овецъ, сѣрою толпой безличныхъ арестантскихъ халатовъ. Эта шпанка не имѣетъ воли,—надъ ней чужая, желѣзная воля; не имѣетъ желаній,—ей *нельзя* желать; не имѣетъ характера,—арестантская партія дисциплинируетъ массу и обезличиваетъ личность; она все оставила за собой и ничего не видитъ впереди. У такого арестанта нѣтъ стыда за свое преступленіе,—тамъ, гдѣ крупное или чѣмъ нибудь особеннымъ выдающееся преступленіе окружаетъ чловѣка ореоломъ, тамъ стыдятся ничтожности преступленія, за которое идутъ въ ссылку, и чтобы показаться хоть немного крупнѣе, лгутъ и наговариваютъ на себя преступленія, которыхъ не было. У него гибнетъ всякая самостоятельность, пропадаетъ привычка, охота къ труду за годъ тюремной жизни, да за годъ (иногда и два) странствованія по этапамъ; онъ по звонку встаетъ, по звонку ѣстъ, ложится спать ежедневно, получаетъ свой паекъ, лѣтомъ—лѣтнюю, зимой—зимнюю казенную одежду, и ничего, рѣшительно ничего не дѣлаетъ. За эти два-три года весь міръ заключается для арестанта на пространствѣ тюремнаго двора и всѣ его интересы—въ жизни бродящей тамъ толпы; и какъ

крестьянинъ, прослужившій въ военной службѣ три года, остается на всю жизнь солдатомъ, такъ и тѣмъ болѣе человѣкъ, протолкавшійся два-три года по тюрьмамъ и этапамъ, остается на всю жизнь арестантомъ.

Эта среда, эта суровая машина быстро стерла въ Ванькѣ все некрѣпко державшееся въ немъ, чѣмъ онъ жилъ раньше; она раздѣла его, сняла съ него видъ культурнаго человѣка, лишила его даже имени и дала ему бубновый тузъ и имя Ваньки Безпечальнаго, которое онъ только и знаетъ теперь. Впрочемъ, тюрьма дала ему еще водку. Свободному человѣку трудно представить себѣ, чтò значить водка въ тюрьмѣ. Она даже не удовольствіе, она—жизнь. Въ ней все: и забвеніе прошлаго, и прекращеніе думы о томъ неизвѣстномъ и страшномъ, что ждетъ впереди; въ ней—воля, уголокъ счастья, за который можно отдать и отдають все, все. Въ концѣ-концовъ, этапъ выпустилъ Ваньку, въ числѣ прочихъ Ванекъ Безпечальныхъ, уже готовымъ и неизбѣжнымъ членомъ ассоціаціи Берегового кабака.

Впрочемъ, на первыхъ порахъ Ванька оказался даже счастливѣе другихъ Ванекъ и сдѣлалъ въ нѣкоторомъ родѣ карьеру. Его голосъ понравился мѣстному протоіерею, любителю хорошаго пѣнія и не жалѣвшему церковныхъ денегъ на устройство хора. Ванька пропивалъ въ «Береговомъ» платѣ, являлся на клиросъ пьянымъ, но хорошіе голоса

въ Сибири рѣдки, а умѣющіе пѣть еще рѣже, и, вѣроятно, Ванька долго-бы пѣлъ въ соборѣ, если бы протоіерея за какую-то провинность не перевели въ другой, худшій городъ: хоръ разстроился, и Ванька остался безъ занятій. Голосъ еще разъ сослужилъ ему службу. Какъ прикосновеннаго къ церкви и голосистаго человѣка, Ваньку пригласили къ себѣ зыряне чѣмъ-то въ родѣ причетника. Зырянскій поселокъ, не въ примѣръ сибирскимъ деревнямъ, находился въ глубокой тайгѣ, вдали отъ трактовъ и рѣкъ. Ближайшая церковь отстояла слишкомъ на 100 верстъ, и маленькая часовня удовлетворяла религіозныя нужды зырянъ. Люди, знавшіе Ваньку въ этотъ періодъ, говорили мнѣ, что онъ служилъ тамъ какія-то службы, надѣвалъ какія-то облаченія, и что—прости, Господи, грѣшную Ванькину душу!—нерѣдко бѣдная зырянская часовня оглашалась совсѣмъ не молитвенными гимнами пьянаго Ваньки, не забывшаго «Периколу» и «Корневильскіе колокола»...

Болота не всегда позволяли имѣть водку, и изъ-за этого Ванька часто ссорился со своими прихожанами; но жизнь у зырянъ была такъ правильна, что Ванька, быть можетъ, долго бы прожилъ у нихъ, если бы заглянувшій въ поселокъ засѣдатель, послѣ трехдневнаго пьянства съ Ванькой, не увезъ его къ себѣ въ качествѣ писаря, пѣвца и собутыльника. Отъ засѣдателя (скоро спасовавшаго на своей службѣ) онъ перешелъ въ волостное правленіе, потомъ еще куда-то; но это были уже кратковре-

менные остановки на пути къ «Береговому», гдѣ Ванька вскорѣ и окончательно устроился.

Здѣсь завязались его тѣсныя отношенія съ Копчикомъ, явившимся въ нѣкоторомъ родѣ антрепренеромъ по отношенію къ Ванькѣ. Копчикъ отыскивалъ работу и отпускалъ Ваньку въ хоръ за разовыя, — деньги получалъ Копчикъ, водку пилъ и Ванька. Лѣтомъ, когда городъ пустѣлъ, — обыватели отправлялись на пріиски и на солку рыбы, — Копчикъ и Ванька ходили по деревнямъ. Въ одной они объявлялись печниками, въ другой — «по скотской части», въ третьей — малярами и красили ставни пѣтухами, а дуги — звѣздами и букетами. Иногда изобрѣтательный Копчикъ придумывалъ особенныя комбинаціи. Мой знакомый встрѣтилъ пьянаго Ваньку въ глухой деревнѣ, стучавшагося подѣ окнами и предъявлявшаго всѣмъ свою «бумагу». Въ бумагѣ значилось, что предъявитель — поселенецъ, невинно осужденный и теперь возвращающійся на родину въ Одесскую губернію, въ Хвалынский уѣздъ. Далѣе выходило, что Ванька (настоящій русскій) — еврей, обратившійся въ православіе, гонимый за это своими единовѣрцами и поѣтому же нуждающійся въ помощи «всѣхъ истинныхъ христіанъ», къ каковой оные и приглашаются. Внизу значились подпись и печать якутскаго полицейскаго управленія (то и другое работы Копчика).

Эти лѣтнія прогулки были бы очень пріятны,

еслибы не приходилось возвращаться тѣми же деревнями, по которымъ шли впередъ (трактъ одинъ и обойти стороною нельзя). Ванька и Копчикъ знали свою работу: Ванькины печи трескались и дымили, «клади», изобрѣтенныя Копчикомъ, не помогали лошадямъ и коровамъ, а краски на дугахъ при первомъ дождѣ начинали расплываться, причемъ звѣзды превращались въ букеты, а букеты—въ звѣзды. Спутникамъ не всегда удавалось хорониться въ тайгѣ и ночью проскальзывать мимо деревень,—нерѣдко ихъ открывали и тогда жестоко били; больше доставалось Ванькѣ, такъ какъ юркій Копчикъ въ большинствѣ случаевъ успѣвалъ ускользнуть. Въ концѣ-концовъ, Ванька рѣшилъ, что въ деревнѣ сильнѣе бьютъ, чѣмъ въ городѣ, и отказался отъ дальнѣйшихъ путешествій.

Чѣмъ живетъ Ванька,—никому неизвѣстно, да и самъ онъ затруднился бы отвѣтить на этотъ вопросъ. По профессіи онъ—воръ, но едва-ли кто воруетъ глупѣе и болѣе неумѣло, чѣмъ Ванька. На глазахъ у хозяина онъ схватываетъ съ лотка перваго попавшаго максуна и удаляется. Именно удаляется,—онъ даже не бѣжитъ. Конечно, Ваньку настигаютъ и Ваньку бьютъ. Бьютъ Ваньку всѣ и чѣмъ попало,—и тѣмъ же соленымъ максуномъ по лицу, и первымъ попавшимся подъ руку полѣномъ, и имъ же, Ванькой, украденнымъ кнутомъ. Сколько ударовъ принялъ онъ на голову и на плечи, и по лицу и

подъ ребра, ни бьющіе его, ни самъ Ванька не считаютъ. Это битье до такой степени вошло, какъ необходимый элементъ, въ программу его жизни, что Ванька даже не пробуетъ сопротивляться и, какъ необходимую дозу, покорно и безропотно принимаетъ наносимые ему удары. Случается, что даже Ванькино воровство пройдетъ незамѣченнымъ, найдется сердобольная душа, которая побьетъ его и бросить ему пятакъ,—тогда Ванька доволенъ и поетъ въ «Береговомъ» свои аріи.

Даже барахольщики *) удивляются.

— Дуракъ ты, Ванька! Хоть бы вороваль-то путно,—только зря лупку принимаешь...

Ванькиной выносливости много помогаетъ то обстоятельство, что онъ живетъ въ общественномъ смыслѣ, слѣдовательно, и бить бываетъ, только четыре мѣсяца, т.-е. отъ снѣга до снѣга, остальное же время онъ лежитъ въ жиганской трупобѣ,—длинномъ, какъ сарай, сколоченномъ изъ барочнаго лѣса зданіи, куда забираются на зиму такіе же несчастные жиганы, какъ Ванька, и пропившіеся рабочіе съ пріисковъ. Я видѣлъ ихъ днемъ. Они лежали на полу почти голые (нѣкоторые—буквально голые), тѣсно прижавшись другъ къ другу и взаимно согрѣваясь. Старое, измызанное песцовое одѣяло и

*) Торговцы старымъ платьемъ, вѣрнѣе—всякимъ барахломъ, какъ называютъ сибиряки поддержанную рухлядь.

такая же доха, составлявшія общественную собственность, переходили постепенно отъ стѣны къ стѣнѣ по голымъ плечамъ и возвращались обратно тѣмъ же путемъ. По своей крайней неловкости, Ванька не участвуетъ даже въ тѣхъ экскурсіяхъ, которыя предпринимаетъ по ночамъ трущоба на чердаки и въ кладовыя обывателей, и лишь изрѣдка посылается по обывателямъ съ жалостными письмами.

Какъ кончитъ Ванька, дѣло извѣстное... Переломають ему ребра обыватели; убьетъ тотъ же Копчикъ въ дружеской свалкѣ, не рассчитавши удара. А скорѣе всего занесутъ Ваньку пьяныя ноги на широкую пелену Енисея, приляжетъ онъ на пушистую постель, покроетъ Ваньку снѣжкомъ и поплыветъ онъ съ вешнимъ льдомъ по широкой рѣкѣ, приставая къ попутнымъ деревнямъ, словно моля о погребеніи. Всегда помнящій о начальствѣ, сибирскій крестьянинъ оттолкнетъ багромъ отъ своего берега ненавистное тѣло, и поплыветъ оно далѣе, пока не найдетъ тихаго мѣста на желтомъ пескѣ широкой отмели, у опушки зеленой тайги, гдѣ нѣтъ ни крестьянъ, ни начальства. То будетъ «неизвѣстнаго званія мертвое тѣло», — одно изъ тѣхъ, которыхъ такъ много плыветъ весной по Енисею и открывается изъ-подъ снѣга на таѣжныхъ тропинкахъ. При немъ не окажется даже того котелка, по которому опредѣляютъ, что мертвый былъ бродяга.

«По гнилости трупа причину смерти опредѣлить нельзя», — вотъ все, что напишетъ о немъ докторъ въ своемъ протоколѣ.

Да и кто будетъ добиваться узнать, какой это Ванька и отчего онъ умеръ... Кому онъ нуженъ? Кто вспомнить о немъ?...

УГОЛОВНЫЕ ДВОРЯНЕ.

I.

У Иннокентія Ѳеодоровича балъ. Онъ намыль лишнихъ два пуда золота противъ смѣты и пируеть. Три номера дрянненькой гостиницы, гдѣ остановился Иннокентій Ѳеодоровичъ по выѣздѣ изъ тайги, биткомъ набиты народомъ. Все золотопромышленники, какъ я потомъ узналъ: тутъ была и тунгусская кровь, и татарская, и остяцкая, и бурятская; были поляки, малороссы, одинъ нѣмецъ. Одинъ управляющій пріисками—чистокровный киргизъ, другой—цыганъ. Было и двѣ-три русскихъ физіономіи. Преобладаютъ приземистыя, съ короткими ногами, крѣпко сколоченныя фигуры, съ бритыми лицами, широкими скулами, узкими глазами, съ рѣзкимъ голосомъ, громкимъ смѣхомъ и размашистыми движеніями. Пиръ въ полномъ разгарѣ. Хоръ пѣвчихъ помѣстился въ корридорѣ и поетъ

залихватскія пѣсни; въ другихъ дверяхъ оркестръ играетъ въ перемежку съ хоромъ. Цыганъ-управляющій пріисками и какой-то сѣдой золотопромышленникъ пляшутъ камаринскаго. Давно уже перешли къ шампанскому.

Я высматривалъ шапку и выжидалъ случая незамѣтно уйти. Въ это время въ открытыхъ дверяхъ номера показалась высокая и стройная фигура господина въ черномъ сюртукѣ. Вошедшій поразилъ меня. У него было удивительное лицо, какого мнѣ не приходилось встрѣчать въ жизни,—классически-прекрасное, тонкое и строгое. Высокій бѣлый лобъ, обрамленный короткими, курчавыми, черными волосами, прямой, съ легкою горбинкой носъ, красивый бритый подбородокъ и тонкія нервныя губы, опущенныя темными вьющимися усами.

Что-то изящное чувствовалось въ этой прямой и тонкой аристократической фигурѣ. Онъ вошелъ особенною, не гнущеюся походкой, высоко неся свою красивую голову, отыскалъ глазами хозяина и протянулъ ему руку.

— Давно имѣлъ желаніе...

Мнѣ не понравился голосъ—сиплый, дрожащій.

— Живемъ подъ одной кровлей!... Холостые люди могутъ обойтись безъ визитовъ, не правда ли? Слышу снизу—такое веселье у васъ, не утерпѣлъ...

Онъ жалъ руку хозяину и говорилъ съ тою напускною развязностью прибитой и ластящейся со-

баки, за которую такъ жалко становится человѣка. Подгулявшій Иннокентій Ѳедоровичъ долго и недоумѣло смотрѣлъ въ лицо гостю, потомъ нехотя пожалъ руку, пробурчалъ что-то себѣ подъ носъ и отвернулся къ гостямъ.

По тому, какъ новый гость обводилъ глазами присутствующихъ, было видно, что онъ зналъ многихъ изъ нихъ, и тѣмъ не менѣе я не замѣтилъ ни у кого желанія протянуть ему руку. Онъ постоялъ нерѣшительно посреди комнаты и выбралъ стулъ, стоявшій въ сторонѣ отъ другихъ. Положеніе гостя было видимо неловкое, разговоры стихли, веселье разстроилось. Должно-быть, не мнѣ одному было жалко его. Только-что плясавшій сѣдой золотопромышленникъ подсѣлъ къ нему и что-то заговорилъ. Я видѣлъ потомъ, какъ они вмѣстѣ пошли къ столу съ винами и закусками.

— Кто это?—спросилъ я у своего сосѣда. Онъ назвалъ мнѣ фамилію.

— Знаете?

Фамилію я слышалъ еще въ Россіи. Родовитый дворянинъ, кандидатъ правъ ...скаго университета, онъ былъ однимъ изъ главарей и юрисконсультomъ обширной шайки, занимавшейся мошенничествомъ, былъ судимъ и присужденъ къ ссылкѣ въ отдаленныя мѣста Сибири съ лишеніемъ правъ.

Я началъ пристальнѣе разсматривать Мещеринова,—такъ будемъ называть его.

При свѣтѣ лампы онъ выглядѣлъ хуже, чѣмъ показался мнѣ въ полутемныхъ дверяхъ номера. Какая-то особенная, тяжелая, землистая блѣдность лежала на лицѣ, а рѣзко-выпуклые глаза смотрѣли стеклянныи наглымъ взглядомъ. Во всей его фигурѣ: въ не особенно чистомъ бѣльѣ, въ измятомъ платьѣ, въ морщинахъ блѣднаго лица — виднѣлось что-то истасканное, опустившееся, какая-то смѣсь наглости съ приниженностью. И все-таки это было замѣчательное, рѣзко выступавшее изъ общаго фона лицо. Когда я оглянулся кругомъ на эти далеко не аристократическія и не классическія лица въ жалкомъ номерѣ дрянной сибирской гостиницы, мнѣ невольно представилась другая картина: залитая яркимъ свѣтомъ балъная зала, кружева и бархаты, черные фраки и блестящіе мундиры. Входить онъ, этотъ Печоринъ-Кречинскій, съ холоднымъ блескомъ надменныхъ глазъ, входитъ тою же, только болѣе молодою походкой, гордо неся, — именно неся, — свою великолѣпную курчавую голову. Мнѣ сразу представился этотъ не въ-время родившійся, запоздалый цвѣтокъ русскаго барства, вступившій въ жизнь съ огромными аппетитами и огромными имѣніями, заложенными еще его отцомъ и перезаложенными имъ самимъ, — этотъ блестящій левъ, умный и наглый, гордый и подлый. Я невольно оглянулся и почувствовалъ себя нелов-

ко,—на мнѣ лежалъ тяжелый, упорный взглядъ наглыхъ, стеклянныхъ глазъ.

Я скоро ушелъ съ вечера. На лѣстницѣ догналъ меня знакомый мелкій золотопромышленникъ, исконный сибирякъ.

— Нѣтъ, какъ вамъ это нравится? — кричалъ онъ мнѣ еще сверху.—Вѣдь лѣзетъ нахаль!... «Давно имѣлъ желаніе...» — передразнилъ онъ.—Да мы-то не имѣемъ никакого желанія. Вѣдь знаетъ, мерзавецъ, а лѣзетъ...

— Да вы подумайте, — попробовалъ я заступиться за Мещеринова, — каково ему было внизу-то сидѣть въ пустомъ номерѣ, когда вы надъ головой его бѣсите. Вы лучше расскажите про Мещеринова.

— А вотъ заѣдьте ко мнѣ, если у васъ есть время.

Я согласился. Маленькій иноходецъ быстро домчалъ насъ.

— Дѣло-то его вы знаете, — заговорилъ мой знакомый, когда мы усѣлись въ его чистенькомъ свѣтломъ домикѣ.—Пріѣхалъ онъ молодой, изъ себя красавецъ, — не такой облѣзлый, — просто картина! Одежда питерская, лощоная. По-французски, по-нѣмецки, по-всякому... Сейчасъ къ чиновникамъ, которые изъ російскихъ. Письма привезъ. А тѣ и рады. «Тетка-то у него, говорятъ, вонъ какая! А двоюродный братъ-то вонъ кто!...» А одинъ чиновникъ еще при дядѣ его въ Питерѣ маленькимъ человѣчкомъ,

въ родѣ старшаго помощника младшаго кучера, состоялъ. У насъ-то онъ ужъ и не маленькій человѣкъ былъ. Такъ тотъ, какъ про фамилію услыхалъ, мундиръ надѣлъ, да съ визитомъ. «Не родственникъ-ли будете?»... Какъ же не родственникъ?— въ перепискѣ... А дядя-то отъ него давно и отказался ужъ,—прибавилъ разскащикъ.—Про дамъ ихнихъ и говорить нечего,—помилуйте, ловкачъ такой! «Молодой человѣкъ, говорятъ, хорошей фамиліи»... У васъ вѣдь на это льстятся. Да узнали еще, что дуэль онъ имѣлъ въ молодости,—ну, ужъ тутъ и говорить нечего. У васъ, вѣдь, въ Россіи, ежели человѣка по-парадному, да съ хорошо обдуманнѣмъ намѣреніемъ убить, такъ въ родѣ какъ доблесть оказать. Это вѣдь не то, что два варнака поругаются, да другъ другу ножомъ пырнуть, а?

Мой знакомый былъ ярый сибирскій патріотъ и любилъ подпускать шпильки по адресу Россіи.

— «Господинъ Мещериновъ, пожалуйста на чашку чаю!»—передразнивалъ онъ.—«Евгеній Александровичъ, повинтись!» «Мосъе Мещериновъ, мы спектакль устраиваемъ,—помогите!» А онъ ходокъ былъ, на всѣ руки. И деньжонки сначала-то имѣлъ,—пошвыривалъ: то пикникъ на тройкахъ съ дамами и шампанскимъ, то холостой картежный вечеръ у себя устроить, охолостить дураковъ-то, да на ихъ же деньги ужинъ закатить, и опять съ шампанскимъ. Къ намъ сунулся—къ тому, другому. «Сойтись,—

говорить,—желаю съ мѣстнымъ обществомъ». Помалкиваютъ,—къ себѣ не зовутъ и визитовъ не отдаютъ; хорошей-то фамиліей насъ не удивишь: въ тайгѣ и теперь вонъ польскій графъ—отъ королей родъ-то ведетъ—въ конюхахъ служить. Тоже мошенникъ всеестественный, только въ лошадяхъ толкъ понимаетъ. До дуэлей мы, по нашему необразованію, еще не дошли, языковъ не знаемъ, а вотъ россійскихъ мошенниковъ такъ очень хорошо понимаемъ и съ какими хочешь фамиліями!... Повертѣлся, повертѣлся около насъ—и отсталъ.

Мой знакомый вдругъ громко разсмѣялся.

— У васъ вѣдь, въ Россіи, думаютъ: залетитъ этакій орелъ въ Сибирь,—сейчасъ сибирскихъ воронъ оплететъ! Не житье имъ, молю, въ Сибири, а масляница. Такъ вѣдь?

Я долженъ былъ сознаться, что самъ думалъ приблизительно такъ.

— Ну, а я вамъ вотъ что скажу,—уже серьезно заговорилъ онъ:—въ прошломъ году въ клубѣ,—не въ нашемъ, впрочемъ, городѣ,—вотъ какой случай вышелъ. Знаете этого... Онъ назвалъ фамилію извѣстнаго богача, уголовного ссыльнаго.—Такъ вотъ тоже чиновники привели его въ клубъ на членскій вечеръ играть въ карты *). Увидѣли его стар-

*) По уставу сибирскихъ клубовъ, лишенные правъ не могутъ быть членами клуба и гостями, а слѣдовательно, и посѣщать членскіе танцевальные и простые карточные вечера.

шины и предложили тѣмъ, кто привелъ, увести его. Скандаль огромный вышелъ! Чиновники распѣтушились: «это, говорятъ, не поселяга какая, а Терентій Егорычъ...» А ужъ сколько этотъ Терентій Егорычъ насъ обихаживалъ,—жертвовать на что-то собирался. У васъ вотъ мужика считается неприличнымъ въ гостиную пустить, а у насъ—уголовнаго ссыльнаго. Такой поселенецъ, какъ Мещериновъ, долженъ долго—ой, какъ долго!—прожить, чтобы къ нему присмотрѣлись и убѣдились, что путный. Ну, тогда, конечно, другой разговоръ. Такіе и женятся, и хорошими людьми выходятъ, только рѣдко.

— Ну, а дальше?

— Это вы про Мещеринова-то?... Да что же дальше? Чиновники кто поразѣхался,—не заживаются они у насъ долго-то,—кто на своихъ бокахъ Мещеринова узналъ,—отстали отъ него. Да и деньжонки вышли. Теперь онъ у Степана Лукьяныча всѣ судебныя дѣла ведетъ, получаетъ отъ него номеръ въ гостиницѣ и столъ, а деньгами—смотря по усердію.

Онъ замолчалъ. Предо мной встало когда-то прекрасное, теперь испитое, преждевременно состарившееся лицо Мещеринова, и я невольно выговорилъ:

— А мнѣ все-таки жаль его.

— Жаль!—раздраженно и сердито заговорилъ мой знакомый.—Вамъ легко жалѣть,—поживете здѣсь и

уѣдете къ себѣ въ Россію, а они у насъ вотъ гдѣ сидятъ!... Онъ показалъ себѣ на шею.

— ...Вѣдь онъ какія штуки выдѣлываетъ! Со мной вотъ было, — спокойнѣе заговорилъ онъ: — судились мы съ Зимныхъ, — видѣли, старичокъ въ углу сидѣлъ? — долго судились изъ-за пріиска. Вотъ Мещериновъ и пріѣзжаетъ разъ ко мнѣ. «Я вамъ, говорить, документы привезъ, давайте пять сотенныхъ, пріискъ вашъ». Показываетъ... Зимныхъ — простодушный человѣкъ, Мещериновъ и научилъ его документъ такой сдѣлать. Долго рассказывать, въ чемъ тутъ дѣло, — въ родѣ подлога, прямо уголовщина... Я инда испугался. Къ Зимныхъ... «Ну, говорю, Клилычъ, дѣло кончать надо, — вотъ, говорю, какой между нами человѣкъ всталъ!...» Въ два слова кончили. А Зимныхъ все-таки сто рублей за документъ-то заплатилъ.

— ...Жалко, жалко!... — снова раздраженно заговорилъ хозяинъ. — Тоже всякаго подлеца жалѣть... Вы вотъ послушайте, чтó онъ на дняхъ устроилъ, — весь городъ возмутился... Надо вамъ сказать, что у насъ, не какъ въ Россіи, евреевъ любятъ. Народъ по-нашему хорошій, живемъ мы съ ними въ мирѣ, не ссоримся. Посылаетъ Мещериновъ за Перцевымъ — знаете? — и показываетъ статью: «Вотъ, говорить, посылаю въ редакцію, не знаю, ладно-ли написана, — послушайте-ка». А статья-то про евреевъ, что вотъ, молъ, они то и другое, винныя за-

веденія и прочее; а извѣстно, евреи всегда подѣ закономъ ходять и всегда объ нихъ написать можно. «Ну какъ, говорить, нравится-ли?»

Тотъ прослушалъ.

— Сколько?—говорить.

— Триста цѣлковыхъ».

...Задумался Перцевъ,—деньги большія,—да и соображаетъ, неужели такую пакость въ газетахъ печатать будутъ? А тотъ словно знаетъ о чемъ онъ думаетъ,—смѣется. «У меня, говорить, въ газетѣ-то все пріятели,—напиши я, что вы христіанскаго мальчика зарѣзали и на Пасху подѣ соусомъ съѣли, и то напечатають». На двухъ стахъ сошлись.

— Ахъ, варнаки, варнаки!—Мой собесѣдникъ сердито зашагалъ по комнатѣ.—Вѣдь если вамъ разсказать, сколько они въ Сибири зла дѣлають... Вы посмотрите въ деревню: волостной писарь—поселенецъ, письмоводитель у засѣдателя—поселенецъ... Загляните въ полицію: все поселенцы и поселенцы,—обманываютъ, пакостятъ, подбиваютъ на кляузы... И скоро-ли вы перестанете свои помои-то на нашу улицу выливать?

На томъ и закончился нашъ разговоръ.

II.

Мещериновъ угощаетъ своихъ интимныхъ знакомыхъ. Къ нему пріѣхалъ гость—полковникъ,

также уголовный ссыльный. Высокій, костистый, съ крупнымъ бритымъ подбородкомъ и сѣдоватыми нависшими бровями, молчаливая и суровая фигура, полковникъ былъ бы очень представителенъ, если-бы не портило волчье выраженіе, которое принимало его лицо всякій разъ, когда онъ открывалъ ротъ и рѣдкіе большіе зубы съ гнилыми клыками выставлялъ изъ-подъ коротко подстриженныхъ, прямыхъ и жесткихъ усовъ. Это ссыльный особаго типа. Человѣкъ съ большими средствами, онъ, не смотря на недавнее пребываніе въ Сибири, успѣлъ завязать дѣловыя связи и теперь пріѣхалъ въ Тайгинскъ, въ качествѣ агента крупной торговой фирмы, устраивать компанію для аренды большой казенной дачи, гдѣ оказались желѣзная руда и каменный уголь.

Мещериновъ только-что выигралъ большое дѣло, получилъ съ своего патрона порядочныя деньги и даетъ обѣдъ въ честь гостя въ интимномъ кружкѣ. Кромѣ нихъ, въ комнатѣ еще двое.

«Панъ», какъ его называютъ всѣ въ городѣ, — толстый, неподвижный господинъ, лѣтъ подъ шестьдесятъ, съ совершенно голымъ, блестящимъ черепомъ и огромными сѣдыми усами, пожелтѣвшими отъ табачнаго дыма на углахъ рта и спускавшимися далеко внизъ по отвислымъ щекамъ до засаленныхъ лацкановъ толстаго пиджака. У пана особенныя глаза. Казалось, владѣлецъ ихъ разъ навсегда

наѣлся до того, что глаза не могутъ ворочаться и потеряли возможность выражать какія-либо ощущенія, кромѣ чувства трудно совершающагося пищеваренія. Эти круглые, неподвижные и мутные глаза нѣсколько оживлялись только тогда, когда онъ ѣлъ, говорилъ или думалъ про ѣду. Въ общемъ это было необыкновенно гордое и столь же глупое лицо стараго пана. Онъ изѣздилъ всю Европу и могъ подробнѣйшимъ образомъ рассказать, что подается самаго лучшаго за табль-д'отами Вѣны и Берлина, Парижа и Лондона, Ниццы и Неаполя,—единственные, впрочемъ, свѣдѣнія, вывезенныя имъ изъ своихъ неоднократныхъ поѣздокъ. Могъ долго и даже съ нѣкоторымъ оживленіемъ рассказывать, какъ лаццарони ѣдятъ макароны, какъ продается ростбифъ въ Англіи; но кончалась съѣстная тема—и лицо снова принимало свое обычное глупое и равнодушное выраженіе. Онъ проѣлъ, буквально проѣлъ, такъ какъ никогда не былъ любителемъ вина, нѣсколько имѣній на огромную сумму, а когда своихъ не хватило, проѣлъ имѣніе своихъ племянниковъ, опекуномъ которыхъ онъ состоялъ, за что и былъ сосланъ съ лишеніемъ правъ.

Теперь панъ живетъ на 30 р. въ мѣсяцъ, которые присылаетъ ему братъ—важный петербургскій сановникъ. Ёда поглощаетъ все время и почти всѣ деньги его, такъ какъ живетъ онъ въ маленькой комнатѣ, давно отказался отъ галстуковъ и чистаго

бѣлья и лѣто и зиму ходитъ въ одномъ и томъ же засаленномъ, гороховаго цвѣта, пиджакѣ. Ёсть онъ съ какой-то неуголимою жадностью, и ёсть все, что попадется подъ-руку, то-есть, на что хватается денегъ: и красную икру, что продается по 15 коп. за фунтъ, и максуна съ душкомъ.

Другое лицо—бывшій предводитель дворянства одной изъ южныхъ губерній, кругленькій человѣкъ съ розовыми щеками, великолѣпными сѣдыми баками и маленькими, масляными, жмурящимися, какъ у кота, глазами. Онъ любитъ узенькіе штаны и коротенькіе, обтянутые пиджачки, имѣетъ палку съ кукишемъ и на часахъ брелокъ съ соблазнительною картинкой, которую онъ любитъ разсматривать, когда сидитъ одинъ въ своей комнаткѣ, и показываетъ только достойнымъ и понимающимъ людямъ. Когда-то предводитель гремѣлъ на цѣлую губернію своими обѣдами, но запутался по одному дѣлу съ Мещериновымъ и пошелъ съ нимъ въ Сибирь. Впрочемъ, не смотря на всѣ превратности судьбы, онъ успѣлъ сохранить невозмутимую ясность духа, и въ лѣтніе праздничные вечера, когда музыка играетъ на городскомъ бульварѣ, его всегда можно видѣть въ кургузомъ пиджачкѣ и въ узенькихъ брючкахъ, съ его палкой и брелоками и розовыми щеками, съ моноклемъ въ глазу, весело насвистывающимъ аріи изъ оперетокъ и заглядывающимъ подъ шляпки дамъ. Его жизнь была бы полна и вполне счаст-

лива, еслибъ онъ менѣ боялся Мещеринова, при которомъ онъ состоялъ чѣмъ-то въ родѣ помощника присяжнаго повѣреннаго, и если бы Мещериновъ не такъ скупо снабжалъ его пятишницами и трешницами. Звали его Валерьянъ Михайловичъ.

Большой пустой номеръ Мещеринова прибранъ. Обѣденный столъ, присланный хозяиномъ гостиницы изъ своей квартиры, накрытъ почти чистою скатерью. Красивыя, разноцвѣтныя бутылки, накрытый на 4 куверта столъ, отдѣльный столикъ въ углу, гдѣ водка и закуска,—ничего сибирскаго,—омары, страсбургскій пирогъ, какая-то рыба въ большой жестянкѣ—все это такъ странно и необычно выглядить въ темномъ, пустынномъ номерѣ Мещеринова.

Обстановка-ли эта, рѣдкость-ли такихъ праздниковъ, или присутствіе гостя, новаго человѣка, настраиваютъ всѣхъ важно и торжественно. Черный, наглухо застегнутый, сюртукъ красиво сидить на высокой, крупной фигурѣ полковника; на предводителѣ даже бѣлый галстукъ, и сѣдые баки безукоризненно расчесаны.

Даже Мещериновъ выглядить менѣ блѣднымъ и весело, оживленно разговариваетъ съ полковникомъ.

— Че-а-экъ, чистую салфетку!—говорить полковникъ, усаживаясь за столъ.

Стоящій у двери Спирька, очевидно, также проникается важностью момента. Эта обстановка, эти

барскія ноты, этотъ «че-а-экъ», почти забытый имъ и его господами, отнимаютъ у него память о томъ, что онъ—товарищъ ихъ, также сосланный за «качества», какъ выражаются арестанты, и даже за такія же, какъ и его господа, что они прошли одни и тѣ же тюрьмы и этапы, — заставляють забыть обычныя интимно-фамиллярныя отношенія съ предводителемъ, рубли и полтинники, которыми онъ кредитуетъ пана, а иногда и самого Мещеринова, — Спирька сознаетъ себя «че-а-экомъ». И, какъ хорошая верховая лошадь сразу чувствуетъ на своей спинѣ настоящаго всадника, такъ лакей-Спирька сразу чувствуетъ въ полковникѣ настоящаго барина и особенно элегантно выгибаетъ спину и раздвигаетъ локти, когда служить ему.

Молча пьютъ и молча ѣдятъ первое блюдо. На столѣ появляется большая нельма, красиво гарнированная. Панъ не можетъ сохранить должнаго спокойствія, — трясущимися руками отдѣляетъ онъ себѣ огромный кусокъ лучшей части и начинаетъ ѣсть. При этомъ его губы выворачиваются, — большія, мясистыя, ноздреватыя, какъ губка; панъ всхлипываетъ, какъ-то странно присвистываетъ и обливаетъ соусомъ свои усы и жирный, лоснящійся подбородокъ. Послѣ нельмы и рейнвейна языки развязываются. Говорятъ про то, что составляетъ интимную, излюбленную тему кружка, когда онъ собирается вмѣстѣ, — про «челдона», какъ онъ не умѣетъ

жить, какъ не умѣть ѣсть, какое онъ дикое, нецивилизованное животное.

— Знаете, полковникъ, самъ видѣлъ, — говоритъ предводитель съ порозовѣвшими болѣе обыкновеннаго щеками и сузившимися влажными глазами. — Возьметъ онъ изъ невода тугуна, — такая маленькая рыбка (поясняетъ предводитель), — да такъ прямо живого и жуесть, а тугунъ-то хвостомъ въ губахъ виляетъ... — Предводитель помахалъ пальцемъ предъ своимъ ртомъ, изображая, какъ виляетъ хвостомъ тугунъ. — Тоже стерлядь: отъ живой отрѣжетъ бокъ, обмакнетъ въ соль, да и въ ротъ. Не мужикъ какой-нибудь, — образованный человѣкъ... Да-съ, а-а-образованный!...

Предводитель заливается смѣхомъ и подбавляетъ въ свой стаканъ рейнвейну. Панъ управился съ нельмой и считаетъ нужнымъ вступить за Сибирь.

— Вы зажарьте его, тугуна, безъ масла, въ собственномъ соку, — это блюдо! — Панъ оживляется. — Тугунъ это... это сардинка! Нѣтъ, въ Сибири... вы не пробовали, полковникъ, ростбифъ изъ сохатаго?

Полковникъ отрицательно машетъ головой.

— Не думаю, чтобъ это было вкусно, — замѣчаетъ онъ.

— Не-е-е думаете?

Панъ круто поворачивается на стулѣ, строго смотритъ на полковника и рѣшительно произноситъ:

— Вымачивайте его сутки въ молоко. Жарьте

въ сметанѣ. Будетъ доходить, — облейте мадерой. Дайте ему немного вспотѣть въ мадерѣ... Пусть вздохнетъ только...

Смягчившійся-было отъ сезерцанія ростбифа, панъ снова дѣлается строгимъ, даже суровымъ.

— Тогда вы не будете не думать, полковникъ! Смѣю васъ увѣрить, полковникъ, не будете...

Панъ снова круто поворачивается на своемъ стулѣ.

Потомъ стали спрашивать полковника о Россіи, объ общихъ знакомыхъ, стали вспоминать прошлое. Предводитель началъ рассказывать, какой у него былъ конскій заводъ и какъ ему давали пять тысячъ рублей за одного рысака, на которомъ онъ цѣлую станцію ѣхалъ рядомъ съ курьерскимъ поѣздомъ и обогналъ поѣздъ.

— Ну, Валерьянъ Михайлычъ, ты ужъ вратъ началъ! — сердито остановилъ его Мещериновъ.

— Вы моихъ лошадей не видали, а говорите: «вратъ!» — съ досадой отвѣчаетъ предводитель. Тѣмъ не менѣе, онъ не продолжаетъ рассказа, съ неудовольствіемъ отворачивается и начинаетъ медленно прихлебывать ликеръ изъ маленькой рюмки. По мѣрѣ того, какъ онъ смакуетъ ликеръ, критически рассматривая рюмку на свѣтъ, его лицо постепенно проясняется, и мысли, очевидно, принимаютъ веселое направленіе. Онъ перегибается черезъ столъ и полупрошепотомъ говоритъ:

— Викентій Игнатъичъ! видѣли вы тутъ—шельмочка одна, вдова еще?..

Панъ поднимаетъ тяжелыя вѣки, пристально, своими круглыми глазами, смотритъ на предводителя и строго, и укоризненно произноситъ:

— Вы говорите: тугунъ?

— Спите, батюшка, спите!—съ досадой машетъ на него рукой предводитель. — Экъ васъ разсиропѣло,—говоритъ онъ, съ любопытствомъ разсматривая покойное лицо пана, мирно сложившаго руки на животъ и снова опустившаго вѣки. — Спирька!

Спирька только-что стащилъ со стола недопитую бутылку мсдеры и сконфузился-было; но по тому, какъ предводитель подмигнулъ, онъ сразу успокоился и даже фамиллярно облокотился на предводительскій стулъ, держа за спиной въ другой рукѣ свою бутылку.

— Быль-съ, — быстро шепчетъ онъ. — На мази дѣло. «Мы, говоритъ, про Валерьянъ Михалыча довольно извѣстны. Я, говоритъ, благороднаго челоуѣка завсегда почитаю,—нечѣмъ, грить, челдонъ. Только, грить, и вы соотвѣтствуйте...»

Предводитель киваетъ головой, потягивается и сладко жмурится, какъ котъ, [только-что съѣвшій очень вкусную мышъ.

Мещериновъ, поблѣднѣвшій отъ выпитаго вина, съ холодными блестящими глазами, оживленно разговариваетъ съ полковникомъ. Онъ соглашается

уговорить своего патрона вложить въ предпріятіе полковника крупную сумму, но ставитъ тяжелыя условія и хочетъ играть въ дѣлѣ активную роль. Полковникъ упирается. Спирька напрасно навастриваетъ уши, — разговоръ идетъ по-французски. А Спирькѣ очень любопытно.

— Опять нашъ-то фортель задумалъ, — соображаетъ онъ, знающій всѣ фортели Мещеринова. И онъ критически осматриваетъ собесѣдниковъ.

— Нашъ-то ловокъ, да и тотъ, должно, зубастый, — приходитъ къ заключенію Спирька, разсматривая молчаливую, суровую фигуру полковника.

— Вѣдь вы своихъ денегъ не вложили въ дѣло, — говоритъ Мещериновъ. — Вѣдь деньги этого, — онъ называетъ фамилію молодого купца въ томъ городѣ, гдѣ жилъ полковникъ, получившаго огромное наследство и бросавшаго деньги направо и налево.

Полковникъ удивленно смотритъ на Мещеринова.

— И вашъ торговый домъ, — невозмутимо продолжаетъ тотъ, — тоже ни копѣйки не далъ, да и не дастъ, пока не убѣдятся, что предпріятіе — не мыльный пузырь...

Полковникъ, не смотря на свою сдержанность, шумно отодвигаетъ свой стулъ и съ полнымъ недоумѣніемъ смотритъ на своего собесѣдника.

— Откуда вы это знаете? — невольно вырывается у него.

Злая улыбка бродить на губахъ Мещеринова.

— Писали мнѣ о васъ... — уклончиво говорить онъ.

Полковникъ молчалъ и не продолжалъ разговора.

— Господа, а вѣдь сегодня маскарадъ! — заявляетъ предводитель.

— Въ Тайгинскѣ маскарадъ? — удивляется полковникъ. — Стоитъ идти? — спрашиваетъ онъ Мещеринова.

— Пожалуй, — нехотя говорить онъ. — Сразу всѣхъ монстровъ увидите.

Подаютъ самоваръ. Струя ласковаго, говорливаго смѣха врывается съ нимъ въ комнату, и мутный кофе, сдобренный коньякомъ, оживляетъ общество.

Что за дѣло, что лампа чадить, толстый слой льда покрываетъ оконныя стекла, грязные обои шевелятся на стѣнахъ отъ вѣтра, что буранъ стучить въ окна и напоминаетъ о сибирскомъ морозѣ, и холодъ, и сырость, и какая-то особенная пустота въ воздухѣ, — что за дѣло! Тутъ французскій языкъ и свое общество, ликеры и сигары, и рѣдкія вѣсти съ далекой родины — уголокъ прошлаго, картина давно минувшаго. Въ синихъ кольцахъ сигарнаго дыма развиваются воспоминанія о далекихъ мѣстахъ, встаютъ образы и картины того, что было и чего нѣтъ теперь, и безъ чего жизнь не въ жизнь.

радость не въ радость этимъ четыремъ людямъ, сидящимъ въ убогой гостиницѣ дальняго сибирскаго городка.

Вѣроятно, оттого мягко и тепло звучать голоса и даже на злобное лицо Мещеринова легло какое-то умягченное, почти мирное выраженіе.

МАСКАРАДЪ ВЪ ТАЙГИНСКѢ.

УГОЛОВНЫЕ ДВОРЯНЕ.

I.

Маскарадъ удался какъ нельзя больше. Продано 700 входныхъ билетовъ — огромная сумма для маленькаго Тайгинска. Тутъ, впрочемъ, не одинъ городъ, — въ маскарадѣ собрались чуть не всѣ золото-промышленники, ихъ управляющіе, служащіе. Они задаютъ тонъ, они — цари вечера.

Широко и вольно пируетъ тайга *), вознаграждая себя за полугодовое сидѣнье въ темныхъ, сырыхъ долинахъ, среди лѣсистыхъ угрюмыхъ горъ за свою бѣшенную работу, за лихорадочную, вѣчно напряженную жизнь. Въ эту зиму имъ есть особенная причина веселиться.

Полуимперіаль — 10 рублей, а слухи о войнѣ все настойчивѣе, и золото все лѣзетъ вверхъ. Первый

*) Тайгой въ этомъ смыслѣ называется система золотыхъ пріисковъ. Говорятъ: «сѣверная тайга», «южная тайга».

выстрѣль за Варшавой дать имъ полтинникъ, а быть-можетъ, и весь рубль на золотникъ...

Разнохарактерная гудящая толпа наполнила танцевальную залу и гостиную клуба и ложи, партеръ и сцену театра, помѣщающагося въ томъ же зданіи. Острое заражающее веселье чувствуется въ смѣющихся, возбужденныхъ лицахъ, въ оригинальныхъ костюмахъ. Вотъ двѣнадцать птичекъ съ длинными картонными носами, въ балахонахъ, обсыпанныхъ перьями и развѣвающихся, какъ крылья, словно пугливая птичья стая, съ птичьимъ крикомъ и шумомъ врываются въ залу, расталкивая толпу и спасаясь отъ преслѣдованія тунгуса, натягивающаго стрѣлу на тугой тетивѣ тунгусскаго лука. Тутъ и остякъ, и юракъ, для своего и общаго удовольствія парящіеся въ мѣховыхъ инородческихъ костюмахъ. Китайки въ настоящихъ китайскихъ костюмахъ, татарки, бурятки, цыганки, ножи и зими—идутъ въ пестрой толпѣ. Вотъ извѣстный всему городу и всѣмъ пріискамъ девятипудовой золотопромышленникъ, всегда играющій роль Голіафа въ живыхъ картинахъ, одѣтый кормилицей въ кокошникъ, бусахъ и сарафанѣ, и, поднимаясь цѣлою головой надъ толпою въ семьсотъ человѣкъ, жеманясь проходитъ подъ руку съ кавалеромъ, чуть-чуть не доросшимъ до локтя своей дамы. Толпа золотопромышленниковъ съ хохотомъ и шутками провожаетъ пару чрезъ весь клубъ вплоть до буфета.

А въ углу цѣлое представленіе. Толпа масокъ, одѣтыхъ пріисковыми рабочими—въ бродняхъ *) и азямахъ, съ бобровыми шапками на головахъ, обступила милліонера - золотопромышленника и просить поднести ей порцію **). Маски убѣждаютъ его, а равно собравшуюся кругомъ публику, что онъ заморилъ ихъ нѣ работѣ, что они цѣлыми днями стоятъ по колѣно въ водѣ и что отъ хозяйской тухлой солонины и гнилыхъ сухарей у нихъ животы подвело.

Изъ публики, расталкивая рабочихъ, подходит мундирный человѣкъ съ мишурными эполетами, изображающій горнаго исправника.

— А пашпорты есть?—свирѣпо набрасывается онъ на рабочихъ. Онъ тотчасъ же, впрочемъ, переходитъ въ примирительный тонъ и соглашается, что «порцію» поднести слѣдуетъ, такъ какъ и работа бываетъ «сверхъ положенія», и мясо «припахиваетъ», и мука «не вполнѣ правильная».

Вмѣшивается публика, присоединяя свой голосъ за поднесеніе порціи, и вся толпа съ золотопромышленникомъ и исправникомъ во главѣ направляется въ буфетъ.

Обличительная нотка, присущая Сибири, носится въ воздухѣ. Вотъ снуетъ въ толпѣ юркая женская фигура почтальона, раздающаго письма по адресу.

*) Сибирская обувь.

**) «Порція» — извѣстное количество спирта, выдаваемого рабочимъ на пріискахъ.

Надъ письмами хохочутъ, нѣкоторые сердятся, кое-кто бросается ловить почтальона, но юркій чело-вѣчекъ исчезаетъ, а вниманіе публики отвлекается въ другую сторону. Въ толпѣ медленно двигается, по-стоянно останавливаемая, бумажная фигура, вся исписанная прозрачными, часто злыми объявленіями: «Ищутъ компаньона для сухой промывки золота» *), гласить одно объявленіе. «Дешево продаются по-держанныя мысли и почти новыя остроты»,—слѣ-дуетъ прозрачный адресъ. «Пропала совѣсть,—гла-сить третье объявленіе,—темная, небольшого роста, смирная,—просятъ возвратить въ сѣверную тайгу. Вознагражденія не будетъ».

На спинѣ написано крупными буквами: «Въ го-родѣ Тайгинскѣ открывается литературное и юри-дическое бюро. Принимаются заказы на шантажъ, подлоги, кляузные и ябедныя дѣла и проч. Цѣны умѣренныя и не умѣренныя, съ запросомъ».

Были сенсационныя телеграммы,—одно извѣстіе даже политическаго характера: «На-дняхъ король Миланъ **) прислалъ Хворостинѣ телеграмму,—просится въ винокуры на мѣсто Самуила Самсо-ныча. Спиридонъ Михайловичъ сомнѣвается...»

*) «Сухой промывкой» называется запрещенная закономъ скупка золота. Золото записывается въ книги, какъ выработан-ное на своемъ приискѣ.

**) Въ то время въ газеты въ первый разъ проникло из-вѣстіе, что Миланъ отказывается отъ престола. Хворостинъ—владѣлецъ винокуреннаго завода.

Вокругъ ходячей газеты толпа, читающая и комментирующая объявленія.

— Мысли! Мало подержанныя мысли! Кому надо мыслей?—обращается къ толпѣ Мефистофель, сопровождающій бумажную фигуру.

— По какому случаю дебошъ?—изъ толпы снова выступаетъ все тотъ же мундирный человѣкъ.—Гдѣ Мамрецовъ? Таш-шы!

— Да вѣдь подержанныя, ваше благородіе!—смирненно оправдывается Мефистофель.—Сами изволите вѣдать, какія у насъ мысли... такъ себѣ, плохенькія... для-ради обихода...

— Не допуш-шай!—сердится мундирный человѣкъ, но тотчасъ смягчается.—Развѣ что подержанныя... Ты у меня смотри!—грозить онъ Мефистофелю пальцемъ и потомъ киваетъ головой по направленію къ буфету:—Будеть?

— Само собой... —отвѣчаетъ Мефистофель.—По положенію... Кто у васъ совѣсть потерялъ?—останавливаетъ онъ группу золотопромышленниковъ.

— Кумъ, не твоя-ли? —отзывается одинъ изъ нихъ.—Коли что—лови!

— Охота тебѣ, парень, съ барахломъ-то путаться!—смѣется другой.—А еще чортъ, по людямъ совѣсть разыскиваешь!...

А звуки «Невозвратнаго» вальса—грустные, тоскующіе—рѣзкимъ диссонансомъ врываются въ толпу

и потому, быть-можетъ, такъ странно увлекають, возбуждаютъ ее. Они куда-то зовутъ, говорятъ о чемъ-то, чего нѣтъ въ этой, полной силы и здоровья, смѣющейся, скептической толпѣ.

Въ центрѣ маленькаго оркестра сидитъ и играетъ на віолончели старикъ-еврей съ длинною и волнистою, какъ рисуютъ Авраама, бѣлою, какъ снѣгъ, бородою. Рядомъ съ нимъ вторая скрипка, его старшій сынъ. Впереди оркестра играетъ первую скрипку и дирижируетъ его младшій сынъ, съ блѣднымъ и чахоточнымъ лицомъ. Онъ только-что вернулся изъ петербургской консерваторіи, которую оставилъ по болѣзни, и привезъ съ собою, какъ новинку, «Невозвратный» вальсъ. Большіе, печальные глаза пристально всматриваются въ толпу, и грустный вальсъ какою-то особенною жалобой звучитъ подъ еврейскимъ смычкомъ.

— Вы знаете, какія слова на этотъ вальсъ?

— Я не знаю, чьи они,—говоритъ господинъ въ черномъ сюртукѣ своей дамѣ:—«Неужели все забывается, неужели всѣ утѣшаются...»

Молодая женщина вздрагиваетъ и широко открываетъ свои испуганные глаза.

— А дальше?—спрашиваетъ она.

— Дальше?... Дальше идутъ глупости: «другъ вѣрный, счастье вѣчное...»

Пара проходитъ дальше. Время отъ времени дама пожимается, какъ отъ холода, и тихо шепчетъ

про себя: «Неужели все забывается, неужели всё утѣшаются...»

Вотъ протяжно вздохнула первая скрипка, и крикливые пьяные звуки «камаринскаго», звеня и гремя, прыгая и расталкивая толпу, понеслись по залѣ, разлетѣлись по всему зданію клуба и потянули къ себѣ толпу изъ буфета, изъ-за карточныхъ столовъ. Въ раздавшемся кругѣ танцуютъ двое замаскированныхъ русскими: кавалеръ — въ поддевкѣ, сапогахъ бураками и съ приклеенною бородой-лопатой, дама—въ сарафанѣ и кокошникѣ. Кругъ раздается все шире, является другая пара танцующихъ, третья. Входитъ остякъ и топчется на мѣстѣ, мѣрно раскачиваясь въ тактъ «камаринскаго». Шумные аплодисменты громомъ стоятъ въ залѣ.

Такіе же аплодисменты и такая же толпа въ партерѣ: тамъ четверо замаскированныхъ евреями, присѣдая и хлопая въ ладоши, танцуютъ еврейскій танецъ.

И опять тоскуетъ первая скрипка, опять грустный вальсъ носится надъ веселою, возбужденною толпой, какъ печальная пѣсня на веселомъ пиру, какъ ссыльное русское горе въ сибирской жизни...

Жарко и душно становится въ тѣсномъ помѣщеніи, тускло горятъ огни, громче звучать разговоры, разгораются снявшія маски, оживленные, смѣющіяся лица. Клубы дыма, звонъ стакановъ, рѣзкіе взрывы хохота вырываются изъ буфета. Тамъ

составилось пари. Сухой, жилистый золотопромышленникъ взялся выпить въ продолженіе двухъ часовъ 70 рюмокъ водки, — настоящихъ клубскихъ рюмокъ, приспособленныхъ для сибирскаго горла. Онъ допиваетъ послѣднія рюмки и не пьянъ, только суровое лицо сдѣлалось добрѣе, да покраснѣла шея до самыхъ волосъ. Большая толпа участниковъ пари внимательно слѣдитъ за количествомъ выпитыхъ имъ рюмокъ *).

Такая же толпа около одного изъ карточныхъ столовъ, гдѣ устроился крупный даже для Сибири винтъ «по пятакъ».

II.

Въ дверяхъ танцевальной залы стоятъ «уголовные дворяне», рѣзко выдѣляясь съ своими усталыми лицами и тусклыми глазами на фонѣ этой разнокалиберной оживленной толпы. Мещериновъ прочиталъ объявленіе о бюро, — бумажная фигура долго стояла оборотившись къ нему спиной, — и злобными глазами, презрительно и вызывающе-нагло смотритъ на

*) Къ слову сказать, я не помню скандаловъ въ сибирскихъ клубахъ, какіе сплошь и рядомъ бывають въ нашихъ провинціальныхъ клубахъ. Думаю, значительную роль въ этомъ случаѣ играетъ чувство собственного достоинства, гораздо болѣе развитое въ Сибири, чѣмъ у насъ въ Россіи.

толпу. Онъ умышленно громко сообщаетъ полковнику краткія біографіи и ѣдкія характеристики проходящихъ мимо тайгинскихъ тузовъ, иронизируетъ надъ стриженными, не модно одѣтыми, не умѣющими кокетничать барышнями, надъ кавалерами, танцующими вальсъ въ сѣрыхъ пиджакахъ, надъ вульгарнымъ тономъ маскарада.

— Сегодня tout Paris въ маскарадѣ. Всѣ горничныя и кухарки... Вѣроятно, и мой Спирька здѣсь отличается, — говоритъ онъ полковнику. — Нашъ jeune premier, — указываетъ онъ на дирижирующаго телеграфиста, — какъ есть французъ. Обыкновенно у насъ по простотѣ дирижируютъ: «Дамы, въ серединку!.. Кавалеры, разбирайте своимъ дамь!..»

Только, при видѣ высокаго старика съ сѣдою, тургеневскаго типа, головой, въ глазахъ Мещеринова снова появляется льстивое, ластящееся выраженіе и губы складываются въ любезную улыбку.

— Вотъ этотъ... — коротко шепчетъ онъ полковнику и пожимаетъ протянутые ему два пальца.

— Прошу позволенія познакомиться! — громко отчеканиваетъ полковникъ. — У меня есть письмо къ вамъ отъ Василья Михайловича, — онъ называетъ фамилію.

— Василья Михайловича? — удивленно спрашиваетъ высокій старикъ. — Вы знакомы?

— У меня есть дѣла съ нимъ. — Полковникъ говоритъ съ импонирующею серьезностью дѣлового

человѣка. — Когда я могу имѣть удовольствіе за-
стать васъ дома?..

Холодные сѣрые глаза разсматриваютъ изъ-подъ
очковъ солидную фигуру полковника.

— Завтра, въ 9 часовъ утра, — старикъ киваетъ
головой и проходить въ залу.

«Панъ» никѣмъ не интересуется и никому не
протягиваетъ руки. Словно застывшій, стоитъ онъ
съ своимъ гордымъ и глупымъ лицомъ и оловян-
ными, выпученными глазами, важный и сосредото-
ченный. Панъ переживаетъ важнѣйшія минуты сво-
ей жизни, — онъ перевариваетъ.

А гудящая толпа оживленною волной идетъ
мимо, прижимая ихъ къ стѣнѣ... Такъ вся сибир-
ская жизнь, сильная и шумная, бѣжитъ мимо этихъ
отбросовъ русскаго общества, равнодушная къ ихъ
горю и радости, симпатіямъ и антипатіямъ, къ ихъ
насмѣшкамъ и ихъ лести...

Только маска-цыганка на минуту останавли-
вается и шепчетъ предводителю: «Паночка, милень-
кій, что приунылъ?» Сонная фигура предводителя
встряхивается, онъ выпячиваетъ грудь и раздвигаетъ
локти, какъ распускающій хвостъ индѣйскій пѣтухъ,
и, сѣменя ножками, въ своемъ кургузомъ пиджачкѣ,
внимательно разсматривая бусы на полной шеѣ
цыганки, вмѣшивается въ толпу.

4 часа ночи. Маскарадъ конченъ, клубъ пустъ,
огни потушены. Дымъ и какой-то чадъ синими вол-

нами носится по залѣ. Мутными, желтыми пятнами мигаютъ свѣчи въ одной изъ ложъ, на столѣ запоздалыхъ игроковъ. Только въ маленькой гостиной, гдѣ стоялъ рояль, широкая полоса свѣта тянется черезъ пустую и темную танцевальную залу. Тамъ устроился импровизированный концертъ. Въ небольшомъ кружкѣ, сгруппировавшемся около рояли, видны старики-поляки, есть и молодые лица, тутъ же и дама съ испуганными глазами. Молодой еврей, дирижировавшій оркестромъ, играетъ на скрипкѣ, ему аккомпанируетъ на роялѣ старая польская дама, высокая и худая, съ сѣдыми, по-старинному зачесанными волосами.

Въ столовой ужинаютъ «уголовные дворяне», сердитые, унылые. Все, что ни подаютъ имъ — гадко и скверно; они швыряютъ тарелки и сердито кричатъ на сонныхъ лакеевъ. Предводитель огорченъ. Маска заставляла его танцовать, водила за собой весь вечеръ и, въ концѣ-концовъ, на его глазахъ, уѣхала съ одною изъ бобровыхъ шапокъ. Онъ вяло тычетъ вилкой въ поданную ему рыбу и выглядить совсѣмъ старикомъ съ своими осовѣлыми глазами, измятыми бакенбардами и потускнѣвшимъ, морщинистымъ лицомъ. Мещериновъ не дотрогивается до своего ужина и рюмку за рюмкой пьетъ коньякъ. Его лицо становится все блѣднѣе и блѣднѣе и огромные выпуклые глаза странно горятъ. Онъ

смотреть въ темную залу и слушаетъ, какъ играютъ полонезъ Огинскаго.

Глухо и жалобно, какъ будто откуда-то издалека, словно воспоминаніе далекаго прошлаго, несятся звуки по опустѣлымъ, затихшимъ комнатамъ. Они говорятъ о томъ свѣтломъ и радостномъ, дорогомъ и миломъ, что было и чего нѣтъ теперь, — говорятъ, что то свѣтлое потемнѣло, а милое потеряно, и нѣтъ къ нему возврата никогда, никогда... Врываются побѣдные звуки марша, какъ вспыхнувшая надежда, какъ ожившая радость; но радость гибнетъ, погасъ побѣдный маршъ — и опять тоскуетъ рояль, снова рыдаетъ скрипка и снова говорятъ они, что надежда напрасна, что то, что было, уже не будетъ, и что прошло, то не воротится, не воротится...

И опять льются звуки. Кто-то жалуется, кто-то молить...

И въ холодной, темной душѣ Мещеринова ставится еще темнѣе, еще холоднѣе.

Изъ сосѣдней со столовою комнаты мимо уголныхъ дворянъ проходятъ послѣдніе изъ ужинавшихъ: выигравшій пари господинъ, отрезвившійся отъ выпитаго шампанскаго, и проигравшій, толстый сѣдой золотопромышленникъ, — тотъ самый, который приласкалъ Мещеринова, когда я увидѣлъ его первый разъ. Старикъ совсѣмъ опьянѣлъ и размякъ, и его сердце полно расположенія ко всему міру, и

онъ не можетъ пройти мимо, не приласкавши этихъ чужихъ людей—такихъ одинокихъ, унылыхъ.

— Что, панъ, покушалъ? Набилъ пузенцо-то?— ласково и любовно говорить онъ, усаживаясь между паномъ и полковникомъ.— Кушай, родимый, кушай!

Отъ избытка чувствъ пьяные глаза наполняются слезами.

— Ты не поѣшь-ли еще пельмешковъ, а?.. Не хочешь? Поѣлъ, значить? Ну, и слава Царю небесному... А то, можетъ, еще чего? Въ этомъ, братъ, зла никому нѣтъ...

Панъ уже переварилъ и съ своимъ обычнымъ важнымъ и сосредоточеннымъ видомъ запасается матеріаломъ для новаго пищеваренія. Онъ скушалъ пельмени, покушалъ куропатокъ, кончилъ ростбифъ, отъ котораго отказался Мещериновъ. Теперь онъ доканчиваетъ двойную порцію налимьихъ печенокъ и молчитъ.

— Ну, жуй, жуй!.. — успокоиваетъ его старикъ и обращается къ Мещеринову:

— Чего нахохлился?

Мещериновъ медленно поворачиваетъ голову и останавливаетъ на старикѣ свои неподвижные глаза, видимо не понимая, что ему говорятъ, и отъ этого холодного, тяжелаго взгляда старикъ останавливается и умолкаетъ.

Онъ обиженъ и нѣкоторое время сидитъ неподвижно и что-то бормочетъ. Онъ даже порывается

встать и уйти, но остается, такъ какъ чувствуетъ, что не допилъ и не наговорился съ людьми, какъ слѣдуетъ, по душамъ.

— Что, полковникъ, война будетъ! — говоритъ онъ. — Чай сосеть у тебя подъ ложечкой-то... — Онъ подмигиваетъ и толкаетъ полковника въ бокъ. — Зудить, а? А ты, парень, не будь жадень... Куснуль малость — и къ сторонѣ, дай и другимъ щець похлебать... — благодушно и наставительно добавляетъ онъ. — Чать у васъ, въ Россіи, голоднаго да жаднаго-то народа конца краю нѣтъ! Небось ждутъ — не дождутся... Тому — сухарь, тому спиртъ, тому подметка... — Старикъ на минуту останавливается и на лицѣ его появляется дѣловое выраженіе. — А, что, полковникъ, взять теперь бомбу... Даетъ она пользу, али нѣтъ?

Насторожившійся полковникъ поднимается съ мѣста, и съ губъ его хочетъ сорваться гнѣвное восклицаніе, но онъ не желаетъ ссориться со старикомъ и въ тонъ ему говоритъ:

— Что бомба!.. Вы вотъ скажите, какъ сухая промывка.. Это не вы компаньона-то ищете?

Потное, расплывшееся лицо старика наливается кровью, онъ грузно поднимается и ударяетъ кулакомъ по столу, отчего рюмки прыгаютъ и звенять.

— Кто говоритъ — сухая промывка? Двадцать лѣтъ мою, — вся тайга знаетъ! Сами — подлецы, —

думаете, и въ Сибири такіе же, какъ и вы, жиганье? Будьте вы прокляты...

Онъ нахлобучиваетъ свою соболью шапку и, покачиваясь, медленно удаляется изъ столовой.

Мещериновъ срывается съ мѣста, но тотчасъ почти падаетъ на стулъ. Съ нимъ дурно и на поблѣвшихъ губахъ выступаетъ кровь. Полковникъ словно застылъ, наклонившись надъ столомъ.

— М-мерзавецъ!..—цѣдятъ его стиснутые зубы.

Медленно двигается, спотыкаясь и увязая въ сугробахъ, высокая, темная фигура по пустымъ улицамъ глубоко спящаго города. Время отъ времени Мещериновъ останавливается, оглядывается кругомъ и къ чему-то прислушивается. Злобными глазами смотреть съ неба высоко поднявшаяся надъ землей блѣдная, страшная луна; синеватыми огнями смутно мерцаетъ блѣлый тяжелый саванъ Енисея; занесеннымъ снѣгомъ кладбищемъ и, какъ кладбище, пустыннымъ и безмолвнымъ выглядить городъ.

Темно и холодно, какъ въ могилѣ, въ душѣ Мещеринова. Онъ страшенъ съ своимъ мертвенно-блѣднымъ лицомъ, огромными безжизненными, какъ-то остановившимися глазами и запекшеюся кровью на посинѣлыхъ губахъ. Пьяный Спирька забылъ истопить печь, и въ номерѣ холодно, какъ на улицѣ. Мещериновъ сидитъ въ шубѣ на своей кровати и тупо смотреть на колыхающееся пламя свѣчи, на шевелящіеся отъ вѣтра обои на стѣнѣ, на висящій

на ней револьверъ. Онъ запрокидываетъ голову и медленно пьетъ водку изъ бутылки: ее только онъ и могъ найти, — вина допиты Спирькой, вода замерзла въ графинѣ.

Что увидѣлъ онъ въ шевелящихся на стѣнѣ обояхъ? Отчего бутылка выскальзываетъ изъ рукъ и со звономъ падаетъ на полъ, и поднимается онъ съ выраженіемъ ужаса на лицѣ, тотчасъ падаетъ, и снова алая кровь показывается на губахъ? Что это: злобный-ли крикъ безсильной ярости, или заглушенный стонъ человѣка, почувствовавшаго, что впереди у него только то, что такъ страшно глянуло ему въ лицо? Что происходитъ въ этомъ бьющемся на постели и глухо хрипящемъ тѣлѣ?

Въ дверяхъ номера показывается испитая, съ всклокоченными волосами, голова Спирьки, проснувагося отъ звона разбитой бутылки. Спирька долго смотритъ, какъ все тише и тише вздрагиваетъ Мещериновъ.

— Евгеній Александрычъ! — Спирька медленно и осторожно вынимаетъ бумажникъ изъ кармана заснуваго Мещеринова, суетъ себѣ въ карманъ одну изъ десятирублевыхъ бумажекъ, тихо вкладываетъ бумажникъ обратно въ сюртукъ, гаситъ свѣчку и на цыпочкахъ выходитъ изъ номера.

— Запилъ! Теперь опять на мѣсяць...—соображаетъ укладывающійся на своемъ ларѣ Спирька. — Какъ бы еще не померъ,—думаетъ онъ, вспоминая

кровь, выступившую на губахъ Мещеринова, и ему становится жалко, что онъ взялъ одну бумажку. — Живущій онъ... — рѣшаетъ Спирька, давно знающій своего барина. Мысли Спирьки принимаютъ веселое направленіе. — Ну, теперь держись, Копчикъ! Теперь не по-намеднешнему... — Спирька увѣренъ, что съ десятию рублями онъ возьметъ коня и воротитъ свои три рубля, проигранные въ трынку Копчику только потому, что онъ, Спирька, не могъ «замирить» и «идти въ гору».

Спирька засыпаетъ. Все тихо въ пустой гостиницѣ, только изрѣдка полузадавленные стоны и хрипѣнье слышатся изъ большого холодного номера.

„Отлетаетъ мой соколикъ“

(ИЗЪ КАТОРЖНЫХЪ ПѢСЕНЪ).

Б Ы Л Ъ.

Разъ, —дѣло было глухою зимою въ одномъ изъ дальнихъ угловъ Восточной Сибири, —мнѣ пришлось вмѣстѣ съ исправникомъ отправиться въ округъ по дѣламъ службы. Ъхали мы въ самый дальній уголь округа, около девятисотъ верстъ въ одинъ конецъ. Дорога была очень скучная. Окутанная толстымъ слоемъ снѣга, пяти-семиверстная пелена рѣки, по которой почти все время приходилось намъ ѣхать, да по бокамъ двѣ гряды каменныхъ утесовъ, тоскливыхъ и дикихъ въ своемъ зимнемъ уборѣ, —вотъ и все, что приходилось видѣть. Населеніе здѣсь — полу-русскіе, полу-тунгусы; деревни рѣдкія и словно вымершія. Мужиковъ вовсе не видно: кто ушелъ въ тайгу бѣлковать и соболевать, кто уѣхалъ въ извозъ на пріиски. Баба надѣваетъ бляху и въ качествѣ десятскаго является встрѣчать начальство;

бабы перепрягаютъ лошадей; двѣ бабы вмѣсто фореиторовъ взбираются верхомъ на лошадей (мы ѣхали шестеркой, гусемъ), третья, какая-нибудь лихая дѣвка, одѣтая по-ямщицки, залѣзаетъ на облучокъ нашего возка и, съ гиканьемъ, длиннымъ кнутомъ подхлестываетъ лошадей, а иногда своихъ пріятельницъ, болтающихъ ногами на переднихъ гусевикахъ.

У меня, впрочемъ, былъ интересный собесѣдникъ. Старикъ огромнаго роста, съ коротко остриженными волосами, солидныхъ размѣровъ краснымъ носомъ и сѣдою клочковатою бородой, онъ имѣлъ очень суровый видъ, хотя въ дѣйствительности былъ добродушнѣйшимъ человѣкомъ. Жилъ онъ бобылемъ, одинъ-одинешенекъ, былъ большой хлѣбосоль, взятки бралъ съ кого слѣдуетъ и за что слѣдуетъ, чѣмъ и заслужилъ всеобщую пріязнь и уваженіе. Онъ имѣлъ три слабости: медвѣдей бить, пѣсни пѣть и говорить про Сибирь. Въ послѣдней онъ особенно повиненъ былъ. Какъ большинство туземцевъ-чиновниковъ, это былъ страстный патріотъ и, когда говорилъ о Сибири и красотахъ ея, впадалъ даже въ поэзію. О Россіи же, наоборотъ, былъ весьма прискорбнаго мнѣнія. По его понятію, хотя онъ за Ураломъ никогда и не бывалъ, Россія — страна, гдѣ живетъ смѣсь жуликовъ съ проходимцами и гдѣ люди занимаются только тасканіемъ носовыхъ платковъ и кошельковъ другъ у

друга. Изъ російскихъ людей онъ любилъ только каторжниковъ и бродягъ, поселенцевъ же и русскихъ чиновниковъ, прїѣзжавшихъ на службу въ Сибирь, терпѣть не могъ.

Я дразнилъ его, что Сибирь только русскіе зады повторяетъ, что она даже ни одной своей пѣсни не выдумала и что родителемъ и учителемъ Сибири—этапъ. Мой собесѣдникъ неистовствовалъ въ возкѣ, особенно по поводу обвиненія въ отсутствіи пѣсенъ, и въ опроверженіе клеветы очень не дурно, хриплымъ старческимъ баскомъ, спѣлъ нѣсколько старинныхъ русскихъ пѣсенъ, искренно убѣждая меня, что это ихнія, собственныя, сибирскія. Наконецъ, и это скучно стало. Пробовали разговаривать съ лихою дѣвицей, сидѣвшею на облучкѣ, но она только скалила свои бѣлые зубы, да смѣялась узенькими тунгусскими глазками.

Помню, выдался особенно скучный станокъ. За ночь дорогу завалило снѣгомъ, и хотя впереди ѣхало двое саней, чтобы протоптать дорогу исправнику, тѣмъ не менѣе тяжелый возокъ глубоко уходилъ въ снѣгъ и подвигался почти шагомъ. Пробовалъ исправникъ ругаться, но дѣвица-ямщикъ такъ обезоруживающе-весело смотрѣла на него, что онъ и ругаться пересталъ. Закусили въ возкѣ, соснули и, проснувшись, увидѣли опять занесенную дорогу и тѣ же двое саней, плетущихся впереди насъ.

— А знаете,—вдругъ заговорилъ исправникъ:—я

вамъ разскажу одну исторію, истинное происшествіе, вотъ вы и узнаете, какія пѣсни поютъ у насъ. Хоть въ каторгѣ, а все-таки въ Сибири, — добавилъ онъ.

Мы усѣлись поудобнѣе, и я приготовился слушать. Постараюсь передать разсказъ исправника въ точности, въ томъ видѣ, какъ онъ удержался у меня въ памяти:

«...Это было еще въ молодыхъ годахъ моихъ. Службу я началъ на родинѣ, въ Забайкальи. Былъ я въ то время засѣдателемъ недалеко отъ Кары и частенько туда заглядывалъ. Комендантъ—человѣкъ добрый былъ, товарищъ хорошій, и выпить не дуракъ, и повеселиться. Къ тому же двѣ дочки у него были, барышни въ возрастѣ,—ну, сами понимаете, не рѣдко гащивалъ. Можно сказать, почти каждого арестанта въ лицо тогда зналъ, и исторія эта чуть не при мнѣ случилась.

«Былъ на Карѣ каторжникъ одинъ, изъ серьезныхъ,—на вѣчную осужденъ былъ. За какія дѣла, доподлинно не умѣю вамъ сказать, только ужъ, конечно, не за пустяки. Помню я его. Русый изъ себя, чуточку сѣдиной по бородѣ прошло, высокій да тонкій, глаза большущіе, неласковые такіе; ходилъ сугорбившись и все словно думаетъ что про себя. Строгій былъ такой, особнякомъ жилъ, словно хоронился отъ кого. Ни въ какія исторіи ни съ начальствомъ, ни съ арестантами не путался; да и

его не задирали, — побаивались-таки. Шесть лѣтъ ужъ на Карѣ жилъ, по положенію скоро бы ему въ испытѹемые перейти слѣдовало. Дивились многіе потомъ, что не бѣжалъ столько лѣтъ. И теперь дѣло это не очень мудреное, а въ тѣ времена только лѣнивый не бѣгалъ, да кому неохота, кто на маленькіе сроки присланъ. Ну, конечно, за нимъ мало смотрѣли, — увѣрились.

«Былъ у него голосъ. Мало-ли я голосовъ въ жизнь свою слышалъ, да и самъ смолоду ладно пѣвалъ, — ну, а у этого голосъ не какъ у другихъ. Тоже и на Карѣ всегда голоса хорошіе подбираются, любятъ тамъ пѣть и пѣвунѡвъ любятъ; а какъ запоетъ Василій Семенычъ — всѣ его такъ звали, и арестанты, и солдаты, — такъ всѣ и бросятся слушать. Майданъ у нихъ, знаете, картишки — это первое удовольствіе, — и одежду арестантскую и паекъ проигрываютъ, — ну, и водчонку по грѣшности потягиваютъ. Такъ тутъ и майданъ бросать, и карты, и водку, и всякія игры. Муха не пролетитъ, особенно если запоетъ «Отлетаетъ мой соколикъ», — такая была у него любимая пѣсня. А въ дверяхъ солдаты набьются, надзиратели, — потому Василій Семенычъ поетъ... Пѣлъ онъ рѣдко и то когда самъ захочетъ. Потомъ это мнѣ солдаты рассказывали: бывало, бродяги обступятъ, страсть они любятъ слушать пѣсни про каторжное, да бродяжное житье, — просятъ, просятъ: ни за что! Иной разъ мѣсяцъ, и два, и больше

не поеть, а ужъ распоесть, — весь вечеръ пѣть будетъ, пока не охрипнетъ, и ужъ тутъ никто съ мѣста не тронется.

«Помню, въ первый разъ привелось мнѣ его слушать. Былъ я разъ у коменданта и пошли мы съ нимъ прогуляться вечеромъ. Погода была распротятая, октябрь мѣсяцъ, — не то дождикъ, не то снѣгъ съ неба сыплется. Ужъ смерклося. Идемъ мы мимо казармы, а онъ запѣлъ. Какъ-то я сразу остановился, — необыкновенное что-то было у него въ голосѣ. Пѣлъ онъ тюремную пѣсню, протяжную, да грустную. Не могу вотъ вамъ и сказать теперь, какой у него голосъ былъ: какъ будто и баритонъ огромный, и теноръ высоты и чистоты необыкновенной. Но не въ томъ дѣло. Покорилъ онъ меня. Словно вотъ схватилъ и держать, а ты стоишь и не дышешь. Да я вамъ прямо скажу: исходи я всю землю, а такого голоса ужъ не услышу. И странное дѣло, помню вотъ какъ сейчасъ: поеть ровно, плавно, просто такъ кажется, по-обыкновенному, а у тебя словно по сердцу ножомъ водять. Потомъ вдругъ загремитъ голосомъ, и страхъ тебя, ужасъ возьметъ, съежишься весь, словно къ землѣ кто давить, а волосы на головѣ, чувствуешь, поднимаются, поднимаются... И потомъ словно устанетъ, запоетъ такъ тихо, ласково, душевно, и ты оживешь, какъ будто вздохнешь, поднимешься... Словно въ немъ разные люди сидятъ и разные души имѣ-

ютъ. Да нѣтъ, сколько бы я ни рассказывалъ вамъ, все равно ничего не выйдетъ!.. Только тутъ я, какъ дуракъ, битый часъ простоялъ, пока онъ не оборвалъ пѣсни.

«Кончилъ онъ, очнулся и я, смотрю—лицо мокрое, и не отъ дождя,—слезы бѣгутъ. И комендантъ, вижу, стоитъ, голову опустилъ,—тоже, видно, и ему не по себѣ. Взглянулъ я вверхъ,—фонарь тутъ наискосокъ стоялъ, — смотрю, заплелъ онъ руки и ноги въ рѣшотку и половину лица просунулъ. Можетъ отъ фонаря, лицо бѣлое-бѣлое, какъ воскъ, а глаза большущіе, черные, недобрые на меня смотрятъ. Не весело смотрѣлъ Василій Семенычъ.

«Вотъ и пѣлъ онъ такъ, и пѣлъ все одинъ,—подголоска найти не могъ. Были и хорошіе голоса, да какъ-то не подходили, спѣться съ нимъ не могли.

«Привели однажды изъ партіи каторжанина, — такъ, плюгавый мужичонка, грошъ цѣна, хилый да слабенькій, словно ребенокъ-подростокъ. Жену, что-ли, убилъ или любовника ея,—что-то въ этомъ родѣ сдѣлалъ. Тоже любопытный человекъ былъ, потѣшный. Все смѣется, бывало, штуки да фокусы разные арестантамъ показываетъ, только бороденка трясется,—въ родѣ шута былъ или юродиваго какого. А все-таки арестанты любили его, — больно ужъ добрый былъ, безобидный да безотвѣтный. Ну, и за то любили, что пѣсенъ много зналъ, а зналъ онъ ихъ, кажется, столько, сколько вся Кара не

знала. Голосъ у него не изъ важныхъ былъ, слабенькій, да и дрожалъ какъ-то, только грустный очень, нѣжный, сердечный такой.

«Василій Семенычъ сразу облюбовалъ его въ подголоски, и скоро спѣлись они. Тотъ гремитъ, а этотъ подпѣваетъ, голосомъ водить, словно плачетъ кто потихоньку, а слышно. Одинъ замолчить, другой тянетъ; тотъ опять подхватить, — еще лучше выходило.

«Ну-съ, такъ вотъ какая оказія случилась.

«Весна была. Тайга эта только-что проснулась, оживать стала. Я вамъ расскажу, впрочемъ, какая тайга весной бываетъ, а то вы не поймете. Вы вотъ не смотрите на нее теперь, когда она снѣгомъ засыпана, морозомъ закована, — однимъ словомъ, мертвая. — Онъ указалъ на темные силуэты кедровъ и пихтъ, обрамлявшихъ гребни каменныхъ утесовъ.

«Ѣдешь это весной, игла-мгла еще зимняя, темная, а ужъ на каждой вѣткѣ зеленый пучокъ. Совсѣмъ еще зима, снѣгъ вездѣ, только на проталинахъ трава еле-еле изъ земли показывается: дудки сладкія, черемша, лопушнякъ, какъ-бишь это... піоны по вашему, а ужъ чувствуешь, что сила-то въ ней, въ тайгѣ, проснулась, что все ужъ налилось, напряжилось, ждетъ — вотъ, вотъ... У насъ, вѣдь, весна, не какъ у васъ, — все вдругъ. Только-что вотъ земляника зацвѣла, а ужъ кислица и чер-

ная смородина цвѣсть начинаютъ, и малина, и княженика, и всякая таежная ягода. Тутъ зима, а пошатаешься по тайгѣ двѣ-три недѣли, воротись на старое мѣсто, — не узнаешь. Трава въ ростъ человѣческій, голубые колокольчики качаются, желтая лилія, какъ стрѣла, поднялась, жарки какъ огонь горять. Голые утесы бѣлымъ оленьимъ мхомъ одѣлись, красными піонами изукрасились; а въ долинахъ черемуха какъ облитая цвѣтомъ, рябина перья свои между иглами протянула, березка одѣлась, игла позеленѣла. И все это цвѣтетъ, зеленѣетъ, пахнетъ, наливается, и все разомъ, словно въ перегонку другъ передъ другомъ старается. А на горахъ еще снѣгъ блеститъ, да и въ тайгѣ, гдѣ поглуше, лѣшинами лежитъ, между цвѣтами-то. Эхъ, благодать, благодать!!!»

Мой собесѣдникъ оживился и, поправивши подушки, сѣлъ полуоборотившись ко мнѣ.

«...Самое, знаете, для меня первое удовольствіе, — снова заговорилъ онъ, — ѣздить по тайгѣ ночью вотъ въ такое время, когда весна только еще идетъ, развернуться собирается. Звенить все это въ тайгѣ, играть, шумъ идетъ, голоса веселые... Подъ ногами у тебя и не видать, гдѣ ручеекъ звенить, булькаетъ, словно маленькій ребенокъ смѣется. Тутъ же, гдѣ-нибудь изъ-подъ корней взялся, между мхомъ вьется; а тамъ дальше съ другимъ сойдется, громче заговоритъ, шумливѣе. Станешь съ горы спускаться,

разбѣгутся эти ручьи да ключики въ разныя стороны, свѣтлые да холодные, гремятъ по камнямъ, на солнышкѣ играютъ, пѣнутся, разными голосами говорятъ. А впереди-то ужъ рѣчка реветъ-бурлитъ. Лѣтомъ въ нее плюнуть некуда, а тутъ посмотри— звѣрь-звѣремъ, только пѣна да брызги. Съ утеса на утесъ, изъ ущелья въ ущелье летитъ-скачетъ, камни ворочаетъ, деревья ломаетъ, а реветъ такъ, что ѣдешь рядомъ съ конюхомъ, на ухо кричишь— не слышать. Выбѣжитъ она изъ утеса въ долину этакую зеленую, разбѣжится, разыграется, утихнетъ. А въ долинкѣ костеръ, огонекъ разложенъ, чай въ котелкѣ варится и бродяжки кругомъ. Дымъ отъ котла голубой-голубой, словно пелена какая по долинкѣ стелется, языками въ ущелья протянется въ тайгу заберется, словно повиснетъ на лапахъ... Пахнетъ на тебя дымомъ,—не надышешься; пихтарникъ да листовяжникъ жгутъ, смолой этой ароматной чудесно пахнетъ!

«А ужъ ночь близко, холодкомъ потянетъ изъ ущелья, морозцемъ станетъ землю прихватывать. Сначала маленькіе ручейки замолчатъ, а потомъ и покрупнѣе затихнутъ, только рѣчка еще глухо бурлитъ, словно шепчетъ что, засыпая. Потомъ и она замолчитъ. И настанетъ тишь по тайгѣ, безмолвіе.

«И вотъ тутъ-то кукушка закукуетъ...

«А знаете-ли, — грузная туша исправника вся повернулась ко мнѣ, — вотъ говорятъ, у васъ, въ

Россіи, соловьи хорошо поютъ. Не слыхалъ-съ! А только хуже,—не смѣйтесь—хуже-съ! Да и не подойдутъ они къ нашей тайгѣ... Велики ли у ней пѣсни, у кукушки-то: «ку-ку, да ку-ку» — только и всего, а заслушаешься. Ёдешь по тайгѣ ночью, слушаешь, слушаешь, чего-чего не передумаешь? А сердце щемитъ такъ... А то вотъ еще голубь дикій... Этотъ еще страшнѣе: «гу-у-урль, гу-у-урль!» — глухо такъ, словно и не вѣсть откуда, а по всей тайгѣ раздается. Такъ и видишь: сидитъ это онъ въ такомъ чортовомъ ущельи, куда ни звѣрь, ни человекъ не проберется, забрался въ трещину скалы и гурлычетъ: гурль, гурль! — словно сама тайга вздыхаетъ глухо и звонко охаетъ.

«...А тайга-то затихла вся, деревья-то въ сумерки огромныя стануть, лапы мохнатыя, длинныя и ти-ишь, тишь непробудная! Развѣ медвѣдь фыркнетъ въ сторонѣ, да затрещитъ сучьями. Прозрачно такъ все. Какія ночи весной? Нѣтъ ночей, — заря зарю зоветъ. Не успѣешь оглянуться, какъ и утро настанетъ. Загорится какая-нибудь сопка бѣлою шапкой своей, а потомъ и солнышко изъ-за нея выйдетъ, блеснетъ на снѣгу и въ долины проберется. Взглянешь съ горы внизъ, а тамъ туманъ виситъ, какъ бѣлое полотно протянулся отъ скалы къ скалѣ, изъ ущелья въ ущелье. Потянетъ опять холодкомъ изъ долины и запахомъ этимъ ароматнымъ обдастъ тебя. Эхъ, славно береза весной на зарѣ пахнетъ!

Горькій такой аромать, особенный... А туманъ ужъ поднимается выше и выше, а подъ туманомъ-то опять оживаетъ тайга; заговорили, какъ колокольчики, маленькіе ключики, зазвенѣли и запѣли по крупнѣе ручьи, заревѣла рѣчка и — опять звонъ и громъ, веселье и радость по тайгѣ на цѣлый день начинается...

«Знаете-ли, я вамъ скажу, — снова исправникъ обратился ко мнѣ, — я вотъ старый человѣкъ, а не могу весной въ городѣ сидѣть, — такъ тебя и тянетъ. Дѣла нѣтъ, — выдумаю, а ужъ на цѣлый мѣсяцъ въ округъ уѣду. Не доѣшь, не доспишь и иззябнешь, и промокнешь, всѣ кости на сѣдлѣ растрясешь, а вернешься въ городъ — словно на десять лѣтъ помолодѣешь. А каково ему, каторжнику-то, за рѣшоткой всю зиму сидѣть? Закукуетъ весной кукушка, — вся красота эта и встанетъ передъ нимъ, духомъ этимъ таежнымъ обдастъ его...»

Исправникъ замолчалъ и долго пыхтѣлъ папирской.

«Далеконько уѣхали мы отъ нашей-то исторіи, — снова заговорилъ онъ, — да не могу удержаться, какъ вспомню про тайгу.

«... Ну-съ, такъ вотъ изволите-ли видѣть, дѣло вышло такимъ манеромъ. Была весна и такое же утро, какъ я вамъ рассказывалъ, теплое да свѣтлое, настоящее весеннее. Снѣгъ еще не совсѣмъ сошелъ, а на проталинахъ трава ужъ показалась.

Вывели раненько каторжниковъ на работу. Ну, какъ всегда, старшой тутъ и солдаты съ ружьями цѣпью окружили.

«Вотъ Василій Семенычъ и запѣлъ свою любимую «Отлетаетъ мой соколикъ». Запѣлъ да скоро и оборвалъ. А ужъ всѣ уши распустили,—слушать приготовились.

«Къ нему: «Спой!» да «спой!» Старшой самъ подошелъ.

«— Спой, говоритъ, ради Христа, Василій Семенычъ, эту пѣсню, а то раздражилъ только.

«Тотъ отнѣкивался, отнѣкивался, а потомъ и говоритъ старшому-то:

«— Вотъ что, говоритъ, Ѳедоръ Васильичъ, ты меня лучше не проси. Ежели я теперь эту пѣсню запою — сбѣгу!

«Тотъ смѣется. Да какъ и не смѣяться: человѣкъ шесть лѣтъ въ каторгѣ выжилъ, сто разъ имѣлъ случай бѣжать,—не убегъ, а тутъ вслухъ напередъ говорить при солдатахъ. За шутку принялъ. Смѣется.

«— Ну, говоритъ, ладно, бѣги, только сначала спой.

«А тотъ опять за свое.

«— Я, говоритъ, не шутки шучу, а прямо тебѣ сказываю — сбѣгу. Полоса такая. Спѣть я тебѣ спою, только уговоръ держи: пулей бери, а штыкомъ не касайся, чтобы безъ увѣчья...

«Старшой все смѣется.

«— Ладно, говорить, пулей-то и намъ сходнѣе. Она тебя живой рукой догонитъ, нечѣмъ штыкъ!

«Пока они тутъ разговаривали, разрѣзъ ужъ не далеко. Это, изволите видѣть, въ родѣ корридора въ землѣ ведутъ, вотъ какъ золото добываютъ, — можетъ, видали? Длинный разрѣзъ былъ, да глубокій, и подходилъ онъ къ утесу. А на утесъ взойти — тутъ сейчасъ и тайга пойдетъ.

«Ну-съ, такъ вотъ подозвалъ этотъ Василій Семенычъ подголоска своего, и ужъ что тутъ между ними было, неизвѣстно. Сговорились, что-ли, они, или такъ, безъ уговору вышло, не умѣю вамъ сказать. Запѣли. Идутъ и поютъ. И арестанты идутъ, солдаты идутъ и всѣ слушаютъ.

«Всегда хорошо онъ пѣлъ, а въ этотъ разъ, говорятъ, какъ никогда не пѣвалъ.

«Подошли къ разрѣзу, спустились, каторжники — остановились, на земь сѣли; по краямъ разрѣза солдаты цѣпью встали, — ружья въ рукахъ, штыки привинчены, все какъ слѣдуетъ. Смотрятъ въ разрѣзъ, слушаютъ. А тѣ двое идутъ себѣ по разрѣзу тихонько, идутъ и поютъ.

«Василій Семенычъ залетитъ, занесется голосомъ неизвѣстно куда, а подголосокъ ведетъ свою ноту. Одинъ замолчитъ, а другой ведетъ; другой замолчитъ, этотъ подхватитъ. И такъ это они спѣлись, что иной разъ и не замѣтно, гдѣ одинъ, гдѣ другой, словно одинъ поетъ. Подошли къ концу разрѣза,

стали подниматься и, пѣсня съ ними поднимается. Подголосокъ въ одинъ уголь, а Василій Семенычъ въ другой. Подголосокъ поднимается потихоньку, скоро и вовсе сѣлъ, а тотъ все шибче да шибче... Вотъ ужъ и пѣть пересталъ, вотъ побѣжалъ наконецъ, такъ-таки прямо на виду у всѣхъ бѣжить по утесу вверхъ... Вбѣжалъ, наконецъ, на самую вершину, а кандалы-то ужъ въ рукахъ у него очутились. Взмахнулъ онъ какъ-то руками надъ головой, бросилъ кандалы внизъ и закричалъ не своимъ голосомъ: «Отле-тѣлъ!».

«Тутъ только, какъ кандалы загремѣли по камнямъ, да какъ крикнулъ онъ, и счнулись всѣ. Конечно, бросились, стрѣлять начали. Да гдѣ ужъ тутъ,—ищи вѣтра въ полѣ!»

— Вотъ-съ какія исторіи бываютъ! — промолвилъ исправникъ и замолчалъ.

— Какъ же это солдаты-то? — заговорилъ было я.

— Вотъ это-то и удивительно!—тотчасъ же прервалъ онъ меня. — Я пріѣхалъ на другой же день, какъ разъ комендантъ старшого допрашивалъ:

«— Да вѣдь вы же всѣ видѣли, осина ты этакая!»

«— Такъ точно, ваше благородіе.

«— Ну, и вѣдь бѣжалъ же онъ? Прямо ужъ видно было, что бѣжить?»

«— Такъ точно, ваше благородіе!

«— Такъ вы-то что же?»

«— Не могу знать, ваше благородіе! Обошелъ онъ насъ, затменіе напустилъ.

«— Тьфу, дуракъ!»

«Комендантъ красный весь былъ, въ поту,—видно, долго ужъ маялся. Разказалъ онъ мнѣ всю эту исторію.

«— Вотъ не угодно-ли полюбоваться? Всѣ такъ. Второй день бьюсь, только и словъ, что «обошелъ», да «затменіе». Пѣсню, изволите-ли видѣть, спѣлъ, а они нюни распустили».

«Старшой былъ бравый молодецъ и не дуракъ,—я его зналъ,—а тутъ дѣйствительно стоитъ дуракъ-дуракомъ, глаза на коменданта вылупилъ. Комендантъ нарочно при мнѣ призывалъ остальныхъ солдатъ, и всѣ они говорили одно и то же.

— Вотъ, батюшка, какіе голоса на Карѣ бьвають!—закончилъ свой разказъ исправникъ.

САВЕЛІЙ

(Изъ воспоминаній моего пріятеля).

I.

— Ваше благородіе, дозвольте газетку!

Я вздрогнулъ отъ неожиданности и оборотился къ двери.

Въ дверяхъ моей камеры стоялъ арестантъ, держась одною рукой за скобку и запахивая другою расходившіяся полы халата. Я часто видалъ Савелья и никогда не обращалъ особеннаго вниманія на сутуловатую, сухощавую фигуру, со впалою грудью и длинными, какъ плети висѣвшими руками, одиноко бродившую по двору и ничѣмъ не выдѣляющуюся изъ общей сѣрой арестантской массы.

Это было обыкновенное, не красивое и не безобразное русское лицо, съ неправильною линіей рта, съ небольшими усами, маленькою рѣдкою бородкой и мягкими русыми волосами, волнистыми прядями сбѣгавшими на лобъ,—одно изъ тѣхъ за-

думчиво-печальныхъ и молчаливо-сосредоточенныхъ лицъ, которыя такъ часто приходилось мнѣ встрѣчать между крестьянами черноземныхъ губерній.

Помню, поразили меня въ этотъ разъ его глаза. Голубые, удивительно ясные, словно прозрачные, они смотрѣли особеннымъ,—я не умѣю выразиться лучше,—долгимъ взглядомъ. Они смотрѣли на меня и, казалось, меня не видѣли, а видѣли что-то стоящее за мной.

Какъ-то сразу вспомнилась мнѣ манера Савелья держаться одиноко, особнякомъ отъ арестантовъ, его любовь къ дѣтямъ, отношеніе къ нему остальныхъ арестантовъ. Все это пронеслось быстро въ головѣ.

— Дозвольте, ваше благородіе, газетку!—повторилъ Савелій.

Я далъ ему нѣсколько нумеровъ. Раньше Савелій вовсе не замѣчалъ меня, хотя я жилъ въ острогѣ уже второй мѣсяцъ,—вотъ почему я особенно удивился его приходу.

— Зачѣмъ это вамъ газета? — любопытствовалъ я.

Одну минуту, казалось, онъ задумался, но тотчасъ спокойно выговорилъ:

— Насчетъ воли...

— То-есть какъ это?—удивился я.

— Намъ, арестантамъ, увольненіе... сказываютъ писано въ газетахъ.

Я на него взглянулъ. Савелій смотрѣлъ тѣмъ же сосредоточеннымъ взглядомъ и говорилъ совершенно спокойно, какъ будто дѣло идетъ о самой обыкновенной вещи.

— Про волю здѣсь ничего нѣтъ. Я всѣ эти газеты читалъ,—выговорилъ я.

Теперь онъ уставился на меня и, немного подумавъ, повторилъ:

— Дозвольте газетку!

Черезъ два часа Савелій съ благодарностью принесъ газету и повернулся, чтобы уйти.

— Ну, что же, вычитали что-нибудь?—остановилъ я его.

— Разыскали!—спокойно отвѣтилъ онъ.—Какъ же это вы, ваше благородіе, — онъ подозрительно взглянулъ на меня, — вѣдь и васъ касающее... А вы говорите: ничего!

Я заинтересовался и прочиталъ указанное Савельемъ мѣсто:

«Реформа по тюремному дѣлу, — извѣщала короткая замѣтка, — близится къ концу и въ непродолжительномъ времени будетъ представлена въ государственный совѣтъ».

— Гдѣ же тутъ про волю-то?—недоумѣвалъ я.

— Какъ гдѣ? — въ свою очередь вскинулъ на меня глазами Савелій. — Реформа къ концу... И даже въ самомъ непродолжительномъ времени... Извольте читать!—онъ переступилъ съ ноги на ногу.—

Ужъ министеремъ представлена, а тамъ и до Государя Императора близко...

Савелій говорилъ учащенно, слегка повышеннымъ тономъ, и тыкалъ пальцемъ въ указанное мѣсто газеты.

— Да вѣдь это реформа по устройству тюремъ ссылки и препровожденія арестантовъ, — попробоваль я вставить свое слово.

— То-есть это какъ же, въ родѣ какъ по слесарной части... какіе замки крѣпче? — Савелій презрительно улыбнулся. — Невозможно, — съ увѣренностью произнесъ онъ: — одна намъ реформа — увольненіе, — ну, по крайности, срокъ сбавять. А вы говорите: насчетъ ссылки... Каждую пустяковину въ газетахъ печатать... А впрочемъ, извините за беспокойство. Подождемъ — увидимъ!

Онъ какъ-то загадочно улыбнулся и тихо вышелъ изъ камеры.

Наше знакомство продолжалось. Каждый день Савелій являлся въ мою камеру, молча бралъ газету и черезъ два часа молча отдавалъ ее. Разспрашивать его мнѣ не хотѣлось.

Однажды, отдавая газету, онъ не тотчасъ вышелъ. Я видѣлъ, что ему очень хотѣлось что-то сообщить мнѣ.

— Ну, что, Савелій Потапычъ, нашли что-нибудь? — равнодушно спросилъ я.

— Есть немножко, — также равнодушно отвѣтилъ

онъ, но тотчасъ оживился и добавилъ: — это по-
крѣпче будетъ! Извольте-ка прочитать.

Онъ развернулъ газету и на третьей страницѣ, въ отдѣлѣ хроники по иностраннымъ дѣламъ, указалъ на пять строкъ, приблизительно гласившихъ, что въ Испаніи собрались кортесы и большинствомъ голосовъ высказались за амнистію. Только тутъ я понялъ все. Понялъ, что это — страстная, неотвязная дума о волѣ, тоска сердца, двадцать лѣтъ закованнаго въ желѣзо, истомившагося въ тюремной и каторжной неволѣ, изстрадавшагося въ бродяжьей жизни, — сердца, страстно потянуvшагося къ волѣ, къ теплу и уюту *своего* угла, *своего* вольнаго мѣста.

А онъ, между тѣмъ, съ лихорадочною поспѣшностью выкладывалъ передо мной свои доводы.

— Амнистія!.. Это мы понимаемъ. Всѣ сенаторы подписали... Оно, можетъ, и были которые несогласные, а все-таки по правдѣ рѣшено. И каторжанамъ, и бродягамъ — всѣмъ увольненіе!

Мнѣ было ужасно горько и больно разочаровывать его, тѣмъ не менѣе я рѣшилъ осторожно предупредить:

— Вы не очень полагайтесь, Савелій Потапычъ, это до насъ не касается. Это, вѣдь, въ Испаніи, да и не о простыхъ арестантахъ рѣчь-то идетъ...

Савелій недовѣрчиво посмотрѣлъ на меня и за-

думался было; но это продолжалось одну минуту, и онъ тотчасъ же съ прежнею увѣренностью и даже нѣсколько обиженно заговорилъ:

— Знаемъ, что въ Испаніи, — читали! Только какъ вы полагаете однимъ тяжело, а другимъ легко?.. Вотъ то-то. Люди — вездѣ люди. И тюрьма тоже... Можетъ, у нихъ другая, а все на замкѣ. Почнется въ одной землѣ и по другимъ пойдетъ, и мы волю увидимъ. Оно, конечно, подольше, — ну, да ждали, — подождемъ!

И онъ ждалъ, — ждалъ упорно, сосредоточенно, ждалъ какъ человѣкъ, у котораго весь мозгъ, вся душа наполнены однимъ и не имѣютъ ни времени, ни желанія выходить изъ круга этой одной идеи. И утромъ, и днемъ, и вечеромъ можно было видѣть отмѣривающую шаги на узкомъ тюремномъ дворикѣ сутуловатую фигуру съ понурою головою и голубыми глазами, смотрящими на всѣхъ и не видящими никого.

Мало-по-малу мы познакомились. Савелій пересталъ сторониться меня и все чаще и чаще засиживался въ моей камерѣ.

Однажды онъ вошелъ ко мнѣ не въ урочное время, раннимъ утромъ. Уже по одному лицу его, по тому, какъ онъ вошелъ и какъ плотнѣе обыкновеннаго затворилъ за собою дверь, я понялъ, что случилось что-то особенное, необычное.

— Что я тебѣ скажу, Иванъ Ивановичъ, — на-

чалъ онъ съ таинственнымъ видомъ, усаживаясь рядомъ со мною на койку.

Незамѣтно для себя, да и для меня, впрочемъ, онъ перешель на «ты». Складка кожи прыгала у него подъ глазами и ему видимо, трудно было сдерживать свое волненіе.

— Сонъ мнѣ привидился... особенный. Теперь ужъ вѣрно!..

Онъ оглянулся во всѣ стороны, со всѣмъ близко наклонился ко мнѣ и тронулъ меня за плечо, очевидно, приглашая тоже придвинуться. Заговорилъ онъ совсѣмъ тихимъ шепотомъ:

— Видишь... Будто праздникъ какой у насъ и входитъ смотритель, Иванъ Ѳомичъ, не какъ всегда, — въ мундирѣ и при шпагѣ, ордена тутъ, — Савелій ткнулъ себя въ грудь, — одно слово, какъ слѣдуетъ, во всей формѣ. Мы стоимъ, смотримъ, что, моль, такое. И вижу я, взялъ онъ метлу, — знаешь, за кухней стоитъ, — взошелъ на верхъ и зачалъ мести. Спервоначалу въ общую зашелъ, вымелъ всю ее на-чисто, весь соръ въ корридоръ. Потомъ въ другую, потомъ по одиночкамъ пошелъ, — къ намъ, значитъ. И въ твоей былъ, — добавилъ онъ, посмотрѣвъ на меня сіяющимъ, ободрительнымъ взглядомъ. — Изъ корридора на лѣстницу все это вымелъ. Эвона какая куча сору-то! — съ радостнымъ видомъ протянулъ руку Савелій. — Спустился внизъ, въ женскую зашелъ и оттуда все вымелъ. И дворъ,

и кухню—все какъ есть на-чисто. И за двери, и въ каждый уголокъ заглянулъ, не осталась-ли гдѣ соринка какая.

Савелій остановился и передохнулъ, какъ будто собираясь съ силами.

— Потомъ это... вижу я... ворота-то наши желѣзные растворяются,—не калитка, а какъ есть всѣ настежь...

Его возбужденіе дошло до крайней степени. Прерывающимся, почти неслышнымъ шепотомъ, такъ что я больше понялъ по движенію его блѣдныхъ и дрожащихъ губъ, онъ выговорилъ:

— Соръ-то этотъ... весь... на улицу... за ворота!

Савелій сразу отодвинулся и посмотрѣлъ на меня широко открытыми, словно испуганными глазами.

Я не сразу догадался.

— И все?—машинально выговорилъ я.

Его возбужденное счастливое лицо слегка затуманилось.

— Какъ это ты... право... Соръ-то вѣдь, это мы, арестанты! И ворота настежь на улицу—воля, значить, всѣмъ намъ!..

Мнѣ опять стало больно за него, за эту слѣпую, страстную вѣру, которой долженъ же когда-нибудь придти конецъ, и конецъ тѣмъ ужаснѣе, чѣмъ страстнѣе была въ него вѣра.

—О да бы на что лучше,—осторожно и нерѣ-

шительно замѣтилъ я,—да вѣдь сны-то разные бываютъ.

— Разные, это ты вѣрно говоришь, разные, — немедленно согласился Савелій. — Бываютъ глупые сны, нестоющіе, бываютъ и умные. Ну, а этотъ совсѣмъ особенный... безпримѣнно сбудется. Ты ужъ и не говори,—остановилъ онъ меня.—Этакіе сны у меня всегда сбывались. Тоже вотъ снилось мнѣ разъ...—Его волненіе нѣсколько улеглось, онъ заговорилъ спокойнѣе. — Иду я, братецъ ты мой, по льду, будто черезъ Енисей рѣку, и какая причина—не помню, только, какъ-никакъ, нужно мнѣ на тотъ берегъ попасть. А ужъ полыньи. Ну, иду, ничего. Ледъ потрескиваетъ, черезъ полыньи прыгаю. И прошелъ ужъ будто, прыгнулъ на берегъ, а берегъ-то и обвалился, и я въ воду подъ ледъ. Проснулся и спрашиваю у своего старца, что, молъ, это означаетъ. А онъ и говорить: «увидишь ты, говорить, свою долю и опять потеряешь». Такъ вотъ оно и вышло: совсѣмъ было на свою сторону пришелъ, а вотъ видишь—опять въ острогъ.

Его лицо снова затуманилось.

Мы молчали.

— Какой это старецъ?—заинтересовался я.

— По бродяжеству знали. Такой божій человекъ. Бродяга одинъ мнѣ сказывалъ: много народу старца-то этого знало, изъ важныхъ былъ, старецъ-то, изъ сенаторовъ, на всякихъ языкахъ пони-

малъ. Освободиться бы,—бродяга сказывалъ,—могъ, да открыться не хотѣлъ, вродѣ какъ крестъ на себя принялъ. Истинно божій человѣкъ. Бывало это спишь въ землянкѣ, проснешься ночью, а онъ поклоны кладетъ, да веригами гремитъ, — изъ кандаловъ, да изъ наручниковъ были сдѣланы.

— Какъ же вы познакомились?—спросилъ я.

— А жилъ онъ, видишь, въ одномъ мѣстѣ, около Нижнеудинскаго города,—въ тайгѣ земляночку соорудилъ. Ну, и народъ зачалъ къ нему похаживать. Засѣдатель и позавиствовалъ, думалъ—денежный человѣкъ, хабора хотѣлъ. Притѣснять сталъ насчетъ вида. Онъ и снялся съ мѣста. А я въ ту пору съ каторги брелъ—и встрѣтились. Такъ онъ мнѣ полюбился, я и дальше не пошелъ. Смастерили земляночку,—думалъ и вѣкъ съ нимъ скоротать. Только сердце не стерпѣло,—видно, молодъ еще былъ. Ну, однако, гляди, съ полгода вмѣстѣ прожили.

Савелій помолчалъ.

— Ахъ, и человѣкъ былъ! Что, то-есть, онъ зналъ—уму непостижимо. Кажется, и на небѣ что, и на землѣ, и подъ землей-то... все онъ зналъ.

Савелій долго молчалъ и сосредоточенно смотрѣлъ въ полъ.

— Про волю сказывалъ, — снова заговорилъ онъ: — «придетъ, говорить, время, когда не будетъ ни елина, ни іудея, ни раба, ни господина, ни богатаго, ни бѣднаго, ни стража, ни узника; будетъ,

говорить, всяческая, то-есть, —пояснилъ Савелій, — всѣ подѣ одно и во всѣхъ Христосъ, —ну, и всѣ во Христѣ, въ правдѣ, значить, не въ обидѣ... Только мы съ тобой Савельюшка, этого не увидимъ...» Вотъ какъ онъ сказывалъ!

Съ потемнѣвшимъ лицомъ и какъ-то опустившимся углами рта Савелій долго и грустно молчалъ, потомъ снова оживился:

— Всего-то мы не увидимъ, это точно, а кое-что и при насъ сбудется. Вотъ уже по закону было равненіе, теперь по землѣ ждать нужно, а тамъ и прочее.

Онъ смотрѣлъ своимъ долгимъ взглядомъ куда-то далеко-далеко, какъ будто тамъ, за моею спиной, въ безконечной дали, вставали передъ нимъ всякія прочія равненія.

II.

Городъ, гдѣ находился нашъ острогъ, былъ однимъ изъ уѣздныхъ городовъ средней полосы Россіи, той пограничной межи, гдѣ уже чувствуется дыханіе Малороссіи, гдѣ слышится «Хведоръ» и «хвунтъ» вмѣсто «Федоръ» и «фунтъ», и гдѣ лукъ уже не лукъ, а «цыбуля». Лица тамъ красивѣе и тоньше, фигуры стройнѣе, голоса и мотивы пѣсенъ мягче и нѣжнѣе, чѣмъ въ настоящей Великороссіи.

Когда я пробую вспомнить тѣ мѣста, мнѣ пред-

ставляется прежде всего солома. Она была вездѣ и была все. Солому ѣли, соломой окутывали избы, солома же испоконъ вѣковъ составляла главное содержаніе жизни ряда поколѣній. Отъ самаго города волнующеюся ратью шла она, взбираясь на плоскіе бугры, спускаясь въ лощины, переползая маленькія и рѣдкія рѣчонки, тѣснымъ кольцомъ облекая темныя пятна чахлыхъ лѣсковъ и годъ отъ году вытѣсняя эти тусклыя пятна, расходясь все шире, разливаясь какъ море.

Въ этомъ морѣ соломы деревни казались хлѣбными кладушками, да и самый городъ, окованный этимъ огромнымъ кольцомъ, какъ-то не по-городскому выглядѣлъ съ десяткомъ своихъ лавченокъ и съ своими мѣщанами, какъ и мужики выѣзжавшими на страду соломенной жизни. Таковъ же былъ и нашъ острогъ. Если не считать нѣсколькихъ гуслицкихъ мошенниковъ, одного еврея чиновника, 3—4 мѣщанъ, — почти вся арестантская масса состояла изъ крестьянъ того же уѣзда, не успѣвшихъ еще потерять своего, такъ сказать, соломеннаго характера и принять настоящій, арестантскій обликъ. Бабы ходили въ своихъ деревенскихъ паневахъ, и единственное производство, которымъ занимались арестанты, было плетеніе лаптей, которыхъ острогъ и выпускалъ несмѣтное количество.

Три лица особенно живо встаютъ въ моемъ воспоминаніи. Стоитъ мнѣ закрыть глаза—и предо мной

является бряцающій кандалами Огузковъ, съ своимъ огромнымъ, рыхлымъ тѣломъ, краснымъ и всегда потнымъ лицомъ, ярко-рыжею бородой и глазами— одинъ на Кавказъ, другой въ Арзамазъ, тюремный щеголь въ красной рубашкѣ, засаленной атласной жилеткѣ, съ мѣдною цѣпочкой, густо унизанною брелоками. И неизбѣжно вспоминается онъ мнѣ или бунтующимъ противъ начальства, или рассказывающимъ ужасныя исторіи изъ своего прошлаго. Онъ былъ всегда въ оппозиціи, вѣчно ругался съ смотрителемъ и надзирателями, солдатами, устраивалъ всякія исторіи, даже дрался, пока не добивался чести быть закованнымъ въ кандалы. Тогда онъ успокоивался и гордо ходилъ по двору мимо оконъ нижняго этажа, громяхая кандалами и подпуская тонкія экивоки тюремнымъ дамамъ, къ которымъ питалъ большую склонность. Проходило время, добродушный Иванъ Ѳомичъ съ приличнымъ внушеніемъ снималъ кандалы, и Огузковъ, смотришь, черезъ недѣльку, черезъ двѣ— снова бунтуетъ. Исторій у него всегда было множество, и всѣ исторіи ужасныя. Тамъ онъ кокнулъ того-то топоромъ, онъ же задушилъ барыню въ вагонѣ («сорокъ тыщъ цопнулъ»), тамъ вырѣзалъ семью помѣщика (опять десятки тысячъ!). Онъ же былъ купцомъ, помѣщикомъ, полковникомъ, водилъ компанію съ московскими купцами (все первой гильдіи), съ князьями и графами, и, не посади его въ острогъ, совсѣмъ

было женился на милліонщицѣ, которая втюрилась въ него даже до ужаси. Исторіи эти рассказывались у тѣхъ же оконъ нижняго этажа или въ средѣ молодыхъ арестантовъ-новичковъ, гдѣ и имѣли большой успѣхъ. Лавры перваго джентльмена острога не давали ему спать. Для этого онъ добивался карцера и кандаловъ (кромѣ случайныхъ гостей, пересылавшихся этапомъ, Огузковъ былъ единственный кандальщикъ въ нашемъ острогѣ), для этого рассказывалъ свои кровавыя исторіи, поэтому же онъ терпѣть не могъ Савелья, единственнаго человѣка въ острогѣ, стоявшаго выше его въ арестантской іерархіи.

Вспоминается мнѣ и другое лицо, и всякій разъ грусть, боль за человѣка, за загубленную молодую жизнь поднимается во мнѣ. Это была небольшого роста, тонкая и нервная фигура съ подвижнымъ лицомъ и какими-то блестящими, словно свѣтящимися глазами. Звали его Волчкомъ. Другого имени я не слыхалъ за все время моей жизни въ острогѣ, да и самъ онъ, кажется, забылъ свое настоящее имя и всегда отзывался на это. Онъ удивительно былъ по-волчьи. Да и кромѣ этого, весь онъ — дикій, отчаянно-смѣлый, съ своими странными глазами и угрюмыми, хоронящимися манерами — дѣйствительно походилъ на молодого волчонка.

Савелій рассказалъ мнѣ его короткую и грустную исторію: «Солдаткинъ сынъ, Волчокъ на вто-

ромъ году сдѣлался круглымъ сиротой и мірскимъ ребенкомъ. Все свое дѣтство онъ пасъ мірское стадо, пока восемнадцати-лѣтнимъ парнемъ не былъ принятъ въ домъ и не женился на дочери зажиточнаго крестьянина. Его жена «гуляла» дѣвушкой, продолжала погуливать и сдѣлавшись женой. Въ одну темную, осеннюю ночь Волчокъ выслѣдилъ ее въ сосѣдней ригѣ и ударомъ топора убилъ ее и ея любовника. Говорятъ, на другой день на мѣстѣ нашли только кучу искрошеннаго въ куски человеческого мяса». — Когда я пришелъ въ острогъ, Волчокъ былъ уже осужденъ на двадцать лѣтъ въ каторжныя работы и ждалъ весны, чтобъ отправиться на Сахалинъ. Держался онъ одиноко и, обыкновенно, съ угрюмымъ лицомъ и сдвинутыми бровями ходилъ въ дальнихъ углахъ тюремнаго двора. Во всемъ острогѣ не было такого смѣльчака, который захотѣлъ бы задѣть его въ такія минуты. Я всегда удивлялся, какъ въ такомъ худенькомъ и, повидимому, слабомъ тѣлѣ могла быть такая огромная сила. Помню одну сцену. Жены пришли на свиданіе къ мужьямъ; арестанты, какъ всегда, толпой окружили ворота, черезъ полуотворенную калитку которыхъ переговаривались приходившія.

— А вотъ ваша супруга, чать ужъ не придетъ къ вамъ,—обратился Огузковъ къ Волчку,—потому укомплектовали вы ее, можно сказать, въ полной мѣрѣ.

— Отстань, дьяволь! — оборвалъ его Волчокъ.

— Теперь, значить, — не унимался Огузковъ, — лежитъ съ миленькимъ, обнявшись, и васъ...

Какъ это случилось, ни я, ни остальные, бывшіе тутъ не успѣли замѣтить: огромное тѣло Огузкова болтнулось и грузно шлепнулось на камни тюремнаго двора. Надъ лежавшимъ стоялъ Волчокъ съ горящими глазами и раздувающимися ноздрями и злобно хрипѣлъ:

— Слышь, дьяволь, убью другой разъ.

Огузковъ, кряхтя и охая, прижимая въ кровь разбитый високъ, поплелся въ камеру при общемъ хохотѣ довольныхъ арестантовъ.

Не смотря на свою угрюмость и замкнутость, Волчокъ былъ любимцемъ всего острога. Временами на него находили полосы какого-то безумнаго веселья. Его дикая и угрюмая фигура преображалась, — онъ бѣсился, какъ разыгравшійся ребенокъ, представлялъ, какъ молодые бараны бодаются, какъ телята прыгаютъ весной по полю, какъ дятель долбить дерево, передразнивалъ птицъ и животныхъ. Жизнь животнаго міра онъ зналъ въ совершенствѣ и, мнѣ кажется, лучше, чѣмъ людскую жизнь. И столько задушевнаго было въ его смѣхѣ, такимъ незлобивымъ весельемъ и юморомъ свѣтились глаза, такимъ ребенкомъ, кроткимъ и нѣжнымъ становился онъ весь, что его невозможно было не любить въ такія минуты. Острогъ собирался тогда на

ступенькахъ кухоннаго крыльца, и, казалось, веселье Волчка свѣтилось на сѣрыхъ и тусклыхъ арестантскихъ лицахъ. Иногда онъ начиналъ рассказывать сказки, и его черные глаза расширялись, а лицо принимало мечтательное, задумчивое выраженіе, или пѣлъ пѣсни тихимъ дѣвичьимъ голосомъ, — протяжныя, грустныя пѣсни. И вдругъ, въ самый разгаръ общаго смѣха или въ срединѣ своей сказки, Волчокъ закидывалъ назадъ голову и начиналъ протяжно и жалобно выть. Его лицо темнѣло при этомъ, брови сдвигались и глаза уходили внутрь. Мнѣ всегда слышалось въ этомъ воѣ что большее простого подражанія, и я всегда торопливо уходилъ отъ окна, чтобы не видѣть искажившагося отъ внутренней боли лица. Арестанты тоже расходились — угрюмые, недовольные. Такія минуты веселья рѣдко приходили у Волчка, и послѣ нихъ онъ всегда по нѣскольку дней болѣе обыкновеннаго замыкался въ себя, дѣлался уныль и необщителенъ.

У Волчка была еще одна особенность: онъ не могъ выносить осторожныхъ женщинъ. Не было такихъ ругательствъ, которыхъ онъ не изливалъ бы на головы дамъ нижняго этажа. Онъ не давалъ прохода своими насмѣшками даже осторожнымъ ухаживателямъ, въ особенности Огузкову. Потому-ли, что Волчокъ былъ самый красивый кавалеръ въ нашемъ острогѣ, или осторожныхъ дамъ обидало

его презрительное отношеніе къ нимъ, — только любимымъ развлеченіемъ этихъ дамъ было дразнить Волчка. Онѣ знали больное мѣсто Волчка, и если онъ въ отвѣтъ на ихъ заигрыванья и ругательства угрюмо молчалъ, одна изъ нихъ непремѣнно говорила какую нибудь фразу вродѣ: «отъ этакого прода каждая жена гулять почнетъ». Эта фраза всегда мѣтко и больно попадала въ цѣль, — разъяренный Волчокъ хваталъ первый попавшійся камень и пускалъ его въ ненавистное окно. Стекла звенѣли, и Волчка вводили въ карцеръ.

Въ одной камерѣ съ Савельемъ жилъ еще бродяга, объявившійся гдѣ-то въ Пермской губерніи уроженцемъ нашего уѣзда. Это былъ глубокій старикъ съ трясущеюся сѣдою и косматою головой. Онъ давно уже сидѣлъ въ нашемъ острогѣ и также все ждалъ воли въ видѣ какой-то «настоящей гумаги», какого-то «рассейскаго бялета», который, по его словамъ, вотъ-вотъ долженъ выйти ему отъ высшаго начальства. Объ этой «гумагѣ» онъ постоянно твердилъ арестантамъ, съ просьбой о «рассейскомъ бялетѣ» (у старика былъ какой-то сибирскій выговоръ), онъ приставалъ къ каждому начальству, являвшемуся въ острогъ. Повидимому, начальство само не знало, что дѣлать съ нимъ, такъ какъ сверстники старика въ той деревнѣ, уроженцемъ которой онъ назвался, всѣ перемерли, и никто не могъ признать его. Лѣто и зиму бродилъ

онъ по двору шатающеюся походкой, съ трясущеюся непокрытою косматою головой, бормоча безсвязныя рѣчи, понятныя, кажется, одному Савелью, за которымъ старикъ ходилъ, какъ тѣнь.

— За что тебя сослали, дѣдушка Софронъ? — какъ-то разъ полюбопытствовалъ я.

— За бари́на, милый, за бари́на... Ляксандра Иваныча... Ольховскій прозывался, можетъ слышалъ? Ну, во!.. Важный баринъ-то былъ, при Царицѣ состоялъ... И вышла тутъ сумятица промежъ народа... — Старикъ гудѣлъ старческимъ хриплымъ басомъ и часто останавливался. — А чанъ былъ агромаднѣющій, — заводъ у бари́на-то былъ винной, — баринъ-то и оплошалъ...

— Какъ оплошалъ? — въ недоумѣніи спросилъ я, когда старикъ остановился и замолчалъ.

Сѣдые косматыя брови поднялись, и мутные старческіе глаза остановились на мнѣ.

— Сварился баринъ-то... въ чану-те. — Онъ снова помолчалъ. — Гораздо народу въ тѣ поры зацапило.

— Ну, а ты-то?

— А мы вродѣ какъ клюшникомъ при баринѣ состояли... и тутъ при немъ быдто... у чана-те...

Я смотрѣлъ на могучія плечи старика и громадную сѣдую, показавшеюся мнѣ срашною, голову.

— Что народу-то, народу-то! — бормоталъ онъ, — все кнутомъ, все кнутомъ... Важный баринъ-то былъ,

при Царицѣ состоялъ... Такъ-то, радимый, гумагу, вишь ты, охлопатываю,—перешель онъ на любимую тему, — настоящшу, сорокъ лѣтъ выправляю, — не выходить...

За этими тремя фигурами идетъ безличная толпа. Тутъ было нѣсколько убійць, были воры и воришки, были конокрады, было нѣсколько семей, ссылавшихся въ Сибирь по приговору обществъ, полдеревни сидѣло за увозъ помѣщичьяго хлѣба и поджогъ господской риги. Былъ сѣденькій, благообразный и богобоязненный старичокъ съ слезящимися глазами, читавшій постоянно божественныя книги и разсуждавшій со мной о Писаніи, извѣстный полѣзду грабитель и кулакъ, сидѣвшій за растрату и другія беззаконія, которыя онъ натворилъ за десять лѣтъ своей службы старшиной. Когда я вспоминаю эту пеструю, уже далеко ушедшую отъ меня въ прошлое толпу, мой взглядъ больше всего останавливается на задумчивой, сутуловатой фигурѣ съ пепельными, волнистыми волосами и сосредоточеннымъ, долгимъ взглядомъ голубыхъ глазъ.

Я не понимаю теперь, почему арестанты съ такимъ уваженіемъ относились къ Савелью, никогда не рассказывавшему своихъ подвиговъ, не стремившемуся занять первое мѣсто. За все время моей жизни въ острогѣ я не помню ни одного случая, гдѣ бы Савелья чѣмъ-нибудь задѣли, оскорбили,

посмѣялись. И это было тѣмъ болѣе странно, что Савелій почти ни съ кѣмъ не сходилъ. Впрочемъ, исключеніе для него составляли новички. Въ нихъ, мнѣ казалось, Савелій видѣлъ уголокъ воли, отъ нихъ пахло еще пашней, избой, хлѣвомъ, волей. Вотъ почему Савелій былъ первый человѣкъ, съ которымъ знакомились новички и отъ кого встрѣчали ласку и привѣтъ. Онъ же, впрочемъ, всегда и провожалъ освободившихся, причемъ всякому говорилъ приблизительно въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ:

— Ну, дай тебѣ Господи! Коли Богъ приведетъ... въ случаѣ чего... (подразумѣвается: воли) можетъ и свидимся. Ну, съ Богомъ! Назадъ не ворочайся!

Изъ остальныхъ арестантовъ Савелій сходилъ только съ Волчкомъ. Онъ любилъ его какою-то отеческою любовью и сильно жалѣлъ его.

— Пропалъ парнишка!—говорилъ онъ о Волчкѣ.—Вѣдь добрый какой, рубашку отдастъ, а звѣрь выйдетъ—и лютый звѣрь. Не чета Огузкову! Огузковъ-то вѣдь здѣсь кандалами бахвалится, а попадетъ въ партію—живой рукой сократятъ. Овца будетъ! Ну, а Волчка не сократишь, нѣтъ!

Поражало меня въ Савельѣ то тихое спокойствіе, которое было разлито во всей фигурѣ его и такъ рѣзко противорѣчило его вѣчно мятущемуся сердцу, вѣчно напряженному и взволнованному душевному міру. Не менѣе поражала въ немъ его удивительно

сохранившаяся натура. Когда я слушалъ Савелья, «гуторящаго» рязанскимъ говоромъ съ другими арестантами, обсуждавшаго хозяйственныя и общественныя крестьянскія дѣла, мнѣ казалось, что онъ только что взять отъ сохи; казалось, что вся двадцатилѣтняя бродяжья и каторжная жизнь, вся мощная сибирская жизнь, кладущая такъ быстро печать на русскаго человѣка, — что все это былъ сонъ, разлетѣвшійся при пробужденіи и не оставившій на Савельѣ никакого слѣда. Еслибъ я не зналъ положительно его прошлаго, я не повѣрилъ бы, что это — бродяга, двадцать лѣтъ скитавшійся въ Сибири.

Помню любимыя развлеченья Савелья. Тускло ползетъ зимній вечеръ въ острогъ. Медленно и тускло тянется острожная пѣсня: «а... а... а...», какъ короткія всхлипыванья плачущаго человѣка, слышится изъ одиночной камеры, несется изъ общихъ и глухо гудитъ снизу, изъ женскихъ камеръ. Пѣсня нарастаетъ, ширится, растягивается... «А-а-ахъ...» долгимъ стономъ стоитъ въ острогъ, и снова пѣсня спадаетъ, только короткія всхлипыванья раздаются по одиночкамъ. Замолкаютъ и они. «А... а... а...» глухо и жалобно слышатся черезъ полъ тихія всхлипыванья женскихъ голосовъ. Они поднимаются кверху, наполняютъ корридоръ, разносятся по камерамъ, и снова долгимъ стономъ стонетъ острогъ. Словъ не слышно, да и были-ли они? Временами,

когда въ полудремотѣ, съ закрытыми глазами, лежу въ своей камерѣ, мнѣ даже кажется, что это поютъ уже и не арестанты, а поютъ тяжелые замки камеръ, ржавыя рѣшотки старыхъ оконъ, толстыя грязныя стѣны, что самый острогъ поетъ и плачетъ и кому-то жалуется туда, на волю... Жалуется, какъ медленно тянутся скучные дни арестантовъ, какъ изо дня въ день, и днемъ и ночью, цѣлыми годами, тоскуетъ арестантское сердце...

А на волѣ, кругомъ острога, вьется вьюга; съ жалобнымъ воемъ и причитаньями стучится она въ окна и также плачетъ, также жалуется, что тамъ, на волѣ, грустно, холодно, сиротливо... Въ дремотѣ, все болѣе окутывающей меня, мнѣ начинаетъ казаться, что острогъ съ кѣмъ-то разговариваетъ, плачущіе звуки сплетаются, перепутываются, куда-то уходятъ отъ меня, и остается одинъ тихій голосъ, ужасно жалобный, молящій, тоскующій...

Вдругъ раздается лай собаки, и я просыпаюсь. Острогъ замолкаетъ. Сигналь поданъ, представление начинается. Тревожно, тихо и коротко ржетъ лошадь; какъ будто только-что проснувшійся пѣтухъ кричитъ хриплое «ку-ка-ре-ку»; промычить корова, заблеетъ овца, ягненокъ жалобно пропищитъ, а собака лаетъ отрывистыми, пугливыми взрывами лая. И вдругъ изъ одиночной камеры, помѣщавшейся въ дальнемъ углу корридора, раздается протяжный вой волка. Я десятки разъ слышалъ голо-

совыя упражненія Волчка, но этотъ вой до такой степени былъ дикъ и страшенъ и такъ неподражаемо походилъ на тяжелый вой голоднаго волка, что я всякій разъ вздрагивалъ въ испугѣ. Невообразимый хаосъ начинался въ хлѣву. Лошади бѣшено ржали, отчаянно мычали коровы и телята, жалобно, разными голосами блеяли испуганныя овцы и ягнята, кудахтали куры, визжала свинья, собака выла и хрипла, надрываясь отъ лая. А волкъ былъ все тоскливѣе, все ужаснѣе, терзая душу своимъ не то стономъ, не то воемъ...

Я разъ видѣлъ Волчка въ ту минуту, когда онъ былъ. Онъ стоялъ у окна своей запертой камеры; тонкія, цѣпкія руки словно впились въ прутья рѣшотки; закинувши голову, какъ настоящій волкъ, онъ выводилъ свои раздирающія ноты. Лица не было видно, только бѣлки глазъ какъ-то странно свѣтились въ полутьмѣ.

Ужасъ хлѣва доходилъ до своего апогея. Кто-то въ ярости рычалъ, кто-то въ ужасѣ жалобно блеялъ. Потомъ все начинало успокоиваться. Слышался удаляющійся, словно замирающій и еще болѣе тоскливый вой волка, рѣже лаяла собака, затихали голоса. Только куры еще долго кудахтали, пока пѣтухъ не кричалъ успокоительно «ку-ка-ре-ку», что обозначало, что волкъ прогнанъ и хлѣвъ засыпаетъ.

— Иванъ Иванычъ, не спишь?—слышу я изъ сосѣдней камеры голосъ Савелья.

Я знаю, онъ, какъ и я, сидитъ у двери и слушаетъ.

— Не сплю,—отвѣчаю я.

— Мураевня наша, а? Волкъ-то какъ!

— Да,—соглашаюсь я.

Долженъ признаться, что я не меньше Савелья увлекался этими представленіями, — иллюзія была слишкомъ полная. Особенно въ такіе зимніе вечера, когда вьюга жалобно выла кругомъ, снѣгомъ и холодомъ вѣяло въ гнилыя рамы острога, — въ такихъ представленіяхъ вставала цѣлая картина. Крестьянская изба, занесенная снѣгомъ, хлѣвъ, огороженный жалкимъ плетнемъ и... голодный волкъ, несчастный, полуживой волкъ, подъ страхомъ смерти приближающійся къ этому хлѣву... Очевидно, то же чувство, та же иллюзія поднималась и въ актерахъ-исполнителяхъ,—такъ вполнѣ входили они въ свою роль.

Только для Волчка, повидимому, не было иллюзіи. Это была уже не игра, не представленіе: то волчьимъ голосомъ вылъ и стоналъ человѣкъ, почувствовавшій себя волкомъ между людьми,—человѣкъ, плачущій о своемъ прошломъ, о своей погибшей жизни и видящій въ будущемъ только Соколій островъ, — тотъ ужасный Соколій островъ, который тогда, десять лѣтъ назадъ, казался запер-

тою въ далекомъ морѣ человѣческою могилой, откуда ни для кого нѣтъ возврата и гдѣ только черное воронье клюетъ бѣлыя каторжныя косточки...

III.

— Ну, а дальше?

— Дальше—опять лѣсъ.

— А рѣка еще будетъ?

— И рѣка будетъ?

— А за рѣкой опять лѣсъ?

— Опять. Горы ужъ тутъ пойдутъ.

— Го-о-ры? Это, дядюшка Савелій, гдѣ ты сказывалъ, снѣгъ-то все лежитъ? Большія?

— Во-ò... большія! День идешь, два идешь, — все не перейдешь.

— Какъ же это снѣгъ-то на нихъ не таетъ, ужели все зима?

— Зима,—отвѣчаетъ Савелій.

— А народъ-то есть?

— И народъ есть. Мало только.

Савелій десятый разъ рассказываетъ своимъ слушателямъ про Сибирь одну и ту же исторію, и Сенька, его главный слушатель — семилѣтній пузатый мальчишка, неизмѣнно задаетъ одни и тѣ же вопросы. Сенькинъ отецъ ссылается въ Сибирь по приговору общества, и потому Сенька очень интересуется сибирскою дорогой и сибирскими чуде-

сами. Теперь онъ молчитъ, подавленный неумѣщающимися въ дѣтской головѣ размѣрами лѣсовъ и рѣкъ, и опять лѣсовъ, опять рѣкъ и горъ, что въ два дня не перейдешь и гдѣ снѣгъ никогда не таетъ...

— А какъ медвѣдь-то, дядюшка Савелій?

— Медвѣдь? — словно просыпается задумавшійся Савелій.

— Даве-то сказывалъ!

— Извѣстно какъ: всталъ на заднія лапы да на меня.

— Ну, а ты его?

— А я его и пырнулъ.

— А онъ тебя?

— А онъ меня—хамъ!..

— А ты его? — Сенька нетерпѣливо теребитъ Савелья за рукавъ.

— И я его—хамъ!..

Сенька умолкаетъ и кладетъ палецъ въ ротъ, что знаменуетъ усиленную работу Сенькиной головы. Савелій поднимаетъ голову и тоже серьезно смотритъ на Сеньку, — только одни глаза смѣются.

— Глупый ты парнишка, Сенька! — разрѣшаетъ Савелій недоумѣніе слушателя. — Его, братъ, не схамкаешь! Кишки я ему выпустилъ. — Сенька долго молчитъ.

— Ножикомъ? — снова спрашиваетъ онъ.

— Ножикомъ, — отвѣчаетъ Савелій.

— Покажь, гдѣ у тебя?..

Савелій наклоняетъ голову и показываетъ широкій и гладкій рубецъ, идущій отъ затылка.

Аниска, пятилѣтняя Сенькина сестра, взбирается на колѣни Савелья и тоже разсматриваетъ его голову.

— Ну, а какъ не угодишь подъ девято-то ребро?—спрашиваетъ Сенька, очевидно, знающій во всѣхъ подробностяхъ исторію съ медвѣдемъ.

— А ты посчитай: разъ, молъ, два,—нащупаешь девятое ребро, тутъ и тыкай.

Проницательный Сенька не поддается на обманъ и заливается хохотомъ.

— Онъ-те нащупаетъ,—говоритъ Сенька.

Савелій откладываетъ шило и съ удовольствіемъ разсматриваетъ только-что оконченный дѣтскій лапотъ. Сплетенный изъ тоненькихъ, разноцвѣтныхъ и искусно подобранныхъ полосокъ коры, лапотъ вышелъ хоть куда и уже давно дразнить завистливые Анискины глазки.

— Дядюшка Савелій, сплети экій лапотокъ! — умильно ластится Аниска.

— Пряникъ-то, небось, не дала даве! — укоряетъ Савелій Аниску. — Ну, да ужъ ладно. Вотъ погоди—ужо.

Савелій — большой пріятель со всѣми острожными ребятами. Каждый день острый подвалъ, куда свѣтъ проникалъ только въ открытую дверь и который носилъ, тѣмъ не менѣе, громкое названіе

арестантскихъ мастерскихъ, — оглашался веселымъ дѣтскимъ хохотомъ и безконечными разсказами Савелья.

— Савелья къ воротамъ! — раздается со двора.

Савелій торопливо сбрасываетъ лыко, которымъ обвязана его голова, и прячетъ подъ халатъ маленькіе лапти и коробочку, разукрашенную разноцвѣтными бумажками, фольгой и узорами изъ наклеенной соломы. Онъ знаетъ, что пришла жена, и волнуется.

Было что-то трогательное въ этой ожившей послѣ двадцатилѣтней разлуки супружеской любви. Окно моей камеры было первое отъ воротъ, и я до мельчайшихъ подробностей помню эти короткія свиданія. При видѣ Савелья осунувшееся, но все еще красивое лицо Матрены покрывается румянцемъ. Зоветъ она его: «Савелій Потапычъ»; Савелій ее — «Матрена Александровна». Встрѣчаются всегда очень любовно, здороваются за руку и съ какою-то торопливою застѣнчивостью спрашиваютъ другъ друга. Въ рукахъ у Матрены непременно узелокъ съ деревенскими гостинцами. Савелій отказывается, Матрена настаиваетъ. Въ узелкѣ пирогъ съ начинкой, или курица, рѣпа, брюква. Разъ даже оказалась бутылочка водки, запеченная къ каравай хлѣба, тутъ же, впрочемъ, открытая коварнымъ надзирателемъ. Савелій въ свою очередь всегда что-нибудь припасетъ для Матрены — или дешевенькій платокъ,

или, какъ въ этотъ разъ, лапти, а коробочку для Оеклуши, десятилѣтней дѣвочки, тутъ же пугливо жмущейся у воротъ.

Повторяю, было что-то до такой степени трогательное въ этихъ свиданіяхъ, что даже арестанты, всегда, какъ на любимое развлеченіе, собиравшіеся у воротъ во время свиданій съ женами, — отходили и оставляли однихъ Савелья и Матрену.

— Какъ же это, Савелій, — пробовалъ я однажды спросить его, — развѣ ты не сердишься на Матрену? Вѣдь она тебя выдала?

— Чего сердиться-то! Это всякому доведись... Двадцать годовъ не видались. Къ тому же каторжникъ, бѣглый, — самъ знаешь, какъ объ насъ въ Россіи-то понимаютъ...

— Теперь-то вотъ ходитъ же!

— Старое вспомянула. Хоть всего-то два годика вмѣстѣ прожили, а ладно жили, согласно. Люди-то на насъ любовались, — вотъ какъ!

Мнѣ показалось, что Савелій увлекся воспоминаніями о прошломъ. Я воспользовался случаемъ и попросилъ его рассказать, какъ его сослали, какъ онъ жилъ въ Сибири и воротился на родину. Я и прежде заговаривалъ объ этомъ, но Савелій постоянно отмалчивался. Теперь онъ въ раздумьи сидѣлъ противъ меня, видимо собираясь съ мыслями.

— Сказывать-то долго! — нерѣшительно замѣтилъ было онъ, но тотчасъ прибавилъ:

— Ну, да ужъ коли тебѣ такая охота,—скажу.

«Какъ и за какое дѣло въ Сибирь пошелъ, — началъ Савелій,—нечего рассказывать. Что сухое-то сѣно ворошить! Одно скажу: не было моей вины. Кабы теперешнимъ судомъ,—оправили бы, прямо бы на свѣтъ Божій выпустили! Настоящаго-то виноватаго вся деревня знала. Покойникъ уже теперь. Ну и пошелъ. Жену разговорила родня, да добрые люди. И больна къ тому же лежала. Прямо еще въ партіи положилъ—бѣжать изъ каторги. На первую же весну и убежъ. До Красноярска не дошелъ,—воротили. Опять убежъ. Разовъ пять такъ-то бѣгалъ, да все незадачливо. Въ Сибири еще пымають, да опять въ ту же казарму. Въ послѣдній разъ хорошихъ товарищей подобралъ, бывалыхъ, — ужъ въ Оханскомъ уѣздѣ попался, да и то по случаю. Тутъ на поселеніе отправили. И такъ мнѣ въ этотъ разъ пофартило: пришелъ на мѣсто, — прямо къ хорошему человѣку попалъ въ работники, на заимку. Мужикъ очестливый, хотъ и челдонъ... Что я тебѣ скажу!—Савелій вдругъ оживился. — Вѣдь совсѣмъ было прижился. Семь лѣтъ на одномъ мѣстѣ прожилъ, — не трогался. И жизнь-то бродяжья надобла... Какая жизнь въ нашемъ-то сословіи? Прямо надо сказать — волчья: знаешь, зубы оскалить, а хвостъ подожметъ. Думаю, поколь шататься-то?.. Нашелъ добрыхъ людей и ладно. Хозяинъ ужъ подговариваться сталъ. Дочь, видишь, у него овдовѣла,

такъ вотъ за меня выдать наровилъ. Ну, и я ничего. И ужъ совсѣмъ было...»

Савелій помолчалъ.

«...Какъ оно пришло,—продолжалъ онъ,—и не знаю. Тайга тамъ кругомъ, темное мѣсто, — прямо, надо сказать, медвѣжій уголъ. На самой этой зимкѣ старуху медвѣдь въ избѣ съѣлъ. Онъ же и меня-то пощупалъ,—Савелій указалъ на голову. — И вотъ вдругъ тайга эта самая опостылѣла мнѣ. Вспомнишь наше-то здѣшнее приволье, да благодать,—не смотрѣлъ бы. А тутъ еще выть она примется,—тоска! Забываться сталъ, голоса разные слышать. Помню, разъ на-яву вродѣ сна было. Разгудѣлась это тайга и слышится мнѣ звонъ въ ней,—то-есть вотъ какъ есть нашъ деревенскій колоколь... Я его никогда не забывалъ, маленькій на Святой любилъ звонить. Ну, такъ вотъ. А тайга-то чудно шумить,—иной разъ и взаправду словно звонъ изъ нея идетъ. Тутъ слушаю, — нѣтъ, какъ есть нашъ деревенскій колоколь къ обѣднѣ благовѣститъ. Все-то мнѣ опостылѣло, работа изъ рукъ валится, на невѣсту не смотрѣлъ бы. Сны сталъ видѣть. Сижущу я, будто, у себя въ Мураевнѣ, хозяйка при мнѣ и все какъ есть на старомъ мѣстѣ, ровно и не уходилъ никуда. И разъ, и два, и три сонъ вижу—и все одно и то же. Тутъ въ скорости и случилось... во снѣ... Приходитъ будто старецъ мой, беретъ за руку. «Вставай, говоритъ, Савельюшка, часъ твой

пришелъ». Помолчалъ, а потомъ вдругорядь»: «хозяйка ждетъ,—домой пора». И такъ это явственно! утромъ проснулся, словно кто за руку держать, словно все еще старца вижу. Ну, ужъ тутъ я ни минуточки и не думалъ. Прямо къ хозяину,—такъ, моль, и такъ. Ну, ничего. Добрый былъ, не какъ прочіе челдоны. Честь-честью простились. Наградилъ онъ меня, не обидѣлъ».

Савелій передохнулъ.

«...И пошелъ я. Пошелъ не какъ всегда, то-есть никакого страху, чтобы, напримѣръ, хорониться отъ кого, опаску какую соблюдать. Такъ на душѣ держу: коли Господь благословилъ въ свое мѣсто идти — доведетъ... Такъ и иду напроломъ. И что-жъ ты думаешь? Прошелъ, хоть бы разъ кто опросилъ. Къ товарищамъ не приставаешь, — иду себѣ одинъ. До Москвы добрался. А раньше я зарокъ далъ — къ Троицѣ-Сергію зайти. Ну, зашелъ, исповѣдался, причастился, все какъ слѣдуетъ, а потомъ, благословясь, и въ свою губернію перешагнулъ»...

«Ахъ, братецъ ты мой! — съ просвѣтлѣвшимъ лицомъ, какимъ-то умягченнымъ голосомъ заговорилъ Савелій. — Скажу я тебѣ, иду по своимъ-то мѣстамъ, ровно крылья несутъ. Больно ужъ у насъ мѣста-то хороши: свѣтло такъ, просторно... Ни устатку, ни заботы,—можно сказать, всякая жилка въ тебѣ играетъ. Подъ вечеръ въ свою Мураевню потрафилъ. Двадцать годовъ, скажемъ, прошло, а

все, думаю, признать могутъ. Ну, пока смерклось, въ конопляхъ просидѣлъ у себя же, на задворкахъ,— думаю, хозяйка не пойдётъ ли за какимъ дѣломъ. Только вотъ тутъ-то, какъ въ коноплѣ-то сидѣлъ, и раздумался. Ну, а какъ хозяйка померла, либо за другимъ замужемъ, либо не приметъ?.. И дальше-то что? Какъ-то мнѣ это раньше въ голову не приходило,—больно ужъ въ сонъ увѣрился. Смотрю кругомъ: плетень поломанъ, дворъ видно, клѣтушка, самъ еще и рубиль, старенькая, на бокъ скосило. Видать, призору не было. И все строеніе темное, ветхое,—сирота-сиротой. А тутъ еще роса холодная пала, — сознобился я. Такъ-то ли жутко стало. Ну, дѣлать нечего. Прокрался я къ хибаркѣ своей,—на задахъ мы жили, въ передней-то братья. Стукнулъ въ оконце разъ, другой, слышу — идутъ. «Чего, говорятъ, надо?»...

«...И-и, братецъ ты мой! Стою истуканъ-истуканомъ. Хозяйка, вѣдь! Голосъ-то у меня перехватило, слезы бѣгутъ, а отвѣчать надо.

«— Прохожій,—говорю.—Ночевать, молъ, Христа ради...

«Помолчала она,—не признала. Боится, видно.

«— Одна я,—говорить.—Мужиковъ-то нѣтъ.

«— Христа ради,—говорю.—Не опасайся.

«Впустила. Огонь вздула. Стоимъ другъ противъ дружки въ избѣ-то. Признавать стала. Господи, Боже мой!..»

Савелій замолчалъ. Онъ наклонилъ голову и весь какъ-то опустился и съежился. Я отвернулся и не видѣлъ его лица.

«...Другъ ты мой, другъ! Вѣришь ли, не помню, что тутъ было. Помню только, сидимъ мы на лавкѣ, другъ на дружку смотримъ, а какія слова говоримъ—не знаемъ. Дѣвчонка тутъ ея проснулась, Оеклушка-то. «Чей это, говоритъ, мамка, мужикъ-то?»—Я жду, не дышу, что скажетъ... А она это не сразу: «мой»,—говоритъ. Такъ она меня этимъ словомъ утѣшила... и у меня языкъ воротился. Смотрю я на дѣвчонку и не знаю, моя ли, нѣтъ ли. Осталась у меня въ тѣ поры дѣвчонка, мѣсяцу; ну, да вижу—больно мала по тѣмъ годамъ.

«— Чья, молъ, будетъ?»

«— Отъ хозяина, отъ покойника, — говоритъ. Больше ничего.

«Уложила она спать дѣвчонку, говоритъ стали.

«— Твоя, молъ, воля, Матрена Александровна. Не хозяинъ я теперь тебѣ,—что хочешь то со мной и дѣлай. Хочешь—выгонь, хочешь—у себя оставь!

«— Что ты, — говоритъ, — Савелій Потапычъ, Христось съ тобой!

«Ничего, оставила. Винца еще разстаралась. Поѣсть собрала. Коротаемъ это ночь-то...»

— Вотъ ты снамъ-то, не вѣришь? — вдругъ обратился ко мнѣ Савелій.

«...Посижу, посижу, взгляну кругомъ,—все, какъ

есть, что во снѣ въ Сибири-то видѣлъ. Тутъ и хозяйка сидитъ, столъ тотъ же, скамейка; кажись, и лоханка старая на старомъ мѣстѣ стоитъ,—ну, одно слово, все по-старому. На зарѣ ужъ легли».

Савелій остановился и замолчалъ.

— Ну, а дальше-то что?

— Ты про что это?—словно очнулся онъ.

— Да какъ же она объявила, ежели хорошо принимала?

«...Такъ и объявила. Проснулась утромъ и раздумалась. Да и какъ, самъ ты подумай, этакое дѣло бабьимъ умомъ обсудить? Сказалъ, вѣдь, я ей, что бѣглый! Ну, думала, думала, — къ попу посоветоваться. А батюшка-то и притакнулъ къ уряднику. Просыпаюсь я, ужъ тутъ народъ и урядникъ. «Вяжи!»—говорить. Ну, точно, въ ту пору осердился я, шибко осердился. «Лучше бы, говорю, ты ножикъ мнѣ ночью въ горло всунула, нечѣмъ на такое дѣло идти. Не принимала бы ужъ», говорю. Что же ты думаешь? Плачетъ, въ ногахъ валяется. «Прости,—говорить,—Савелій Потапычъ, не своимъ я умомъ»... Ну, и отошло у меня отъ сердца. А тутъ праздникъ въ тотъ день былъ, второй Спасъ,—въ скорости къ обѣднѣ заблаговѣстили; звонъ-то, что въ тайгѣ слышалъ, привелъ Господь въ своемъ селѣ услыхать. Вотъ какъ предъ истиннымъ Богомъ, сразу все отошло. Легко стало, радостно. «Ну, говорю, здравствуйте православные!» Братъ тутъ по-

дошелъ, старикъ ужъ,—другой-то померъ. Поцѣло-
вались мы съ нимъ. Хрестьяне подошли, которые
помнили. И такъ это хорошо поговорили мы тутъ
полденечка, урядника угостили, а къ вечеру и въ
становую квартиру проводили меня.

«А ты говоришь — сердиться! — снова загово-
рилъ Савелій.—Было сердце, вѣрно, а только скажи
мнѣ въ ту пору, въ Сибири-то, что все вотъ такъ
и выйдетъ, — пошелъ бы, съ превеликой радостью
пошелъ бы!»

Савелій долго молчалъ и сидѣлъ, понутивъ го-
лову. Я не хотѣлъ мѣшать ему.

— Вотъ что скажи ты мнѣ,—снова заговорилъ
онъ: — жена мнѣ теперь Матрена, или нѣтъ? Въ
толкъ я не возьму. Теперь она вдова, Карасева
пишется, а я Телѣгинъ. Какъ же, въ случаѣ чего
(подразумѣвается «воля»)... Ужли насъ опять вѣн-
чать будутъ?

Вопросъ былъ сложный и совершенно нежи-
данный для меня. Я затруднился отвѣтить.

— Теперь опять этакъ сказать... — продолжалъ
Савелій: — жить ежели не вѣнчавшись, и выйдетъ,
что живу я, значить, со вдовой Карасевой, а не
со своей женой. И ребята, коли Богъ благословить,
будутъ не мои дѣти, а вродѣ какъ подкидыши. Чу-
жими насъ тоже почестъ нельзя... Ума не приложу!

Я тоже не могъ ума приложить и что нибудь
разъяснить Савелью, да и разъяснять-то какъ-то

странно было въ виду очевидной неосуществимости мечтаній Савелья.

Раздумье Савелья не долго продолжалось. Онъ вдругъ оживился и весело заговорилъ:

— Смотри, какъ заживемъ съ Матреной Александровной, лучше молодыхъ! Приѣзжай, смотри, безпремѣнно. Не вѣкъ и тебя-то держать будутъ. Какая твоя вина?—нѣтъ на тебѣ вины. А тамъ, можетъ, Богъ приведетъ, крестникъ у тебя будетъ, или крестница,—ужь не откажи...

Мнѣ всегда странно было слушать Савелья, когда онъ подобнымъ образомъ мечталъ, какъ будто изъ дѣйствительности я переносился въ область сновидѣній. Казалось, Савелій и мысли не допускалъ, что его, какъ бѣглаго каторжника, отправятъ въ ту же каторгу, предварительно наказавши плетью... Я пробовалъ однажды посовѣтовать ему хлопотать «на всякій случай» о разрѣшеніи Матренѣ слѣдовать за нимъ въ Сибирь. Онъ немедленно согласился, что это хорошо и слѣдуетъ сдѣлать; но по его голосу и лицу я видѣлъ, что этотъ «всякій случай», т. е. отправку въ Сибирь, онъ считаетъ совершенно невѣроятною вещью.

Теперь Савелій сидѣлъ противъ меня съ счастливымъ лицомъ. Его влажные еще отъ слезъ, широко открытые, глаза были прекрасны и молоды. Они смотрѣли прямо на меня, и сколько въ нихъ

было и радости, и счастья, и любви, и какъ много вѣры,—этой слѣпой, ужасной, безумной вѣры!..

IV.

Савелій почти счастливъ,—ему удалось устроить огородъ въ острогѣ. «Савельевы сады», какъ прозвали арестанты этотъ огородъ, въ своемъ родѣ были не менѣе любопытны, чѣмъ Семирамидины сады,—по крайней мѣрѣ, устроить ихъ было такъ же мудро. Цѣлый мѣсяцъ упрашивалъ Савелій смотрителя, и какъ тотъ ни ругался, Савелій все продолжалъ при каждомъ удобномъ случаѣ, какъ только замѣчалъ веселое лицо у добродушнаго Ивана Оомича, обращаться съ одною и тою же просьбой: «дозвольте, ваше благородіе, землицы!»

— Чортъ съ тобой,—разрѣшилъ, наконецъ, смотритель.—Только отвяжись, дьяволъ!

Дѣло закипѣло. Нашъ тюремный надзиратель Васильичъ принесъ Савелью самой лучшей земли изъ своего огорода и пророщенныхъ сѣмянъ огурцовъ и гороха.

Сшили изъ лубка ящикъ, привязали снаружи окна къ рѣшоткѣ и посадили сѣмена. Огурцы не взошли, за то горохъ взошелъ очень густо и на солнцѣ каменной стѣны началъ весьма сильно расти. Взо-

шелъ и подсолнухъ, неизвѣстно какъ очутившійся между сѣменами огурцовъ и гороха.

Арестанты посмѣивались надъ «Савельевыми садами», но, въ сущности, такъ же, какъ и онъ, любовались ими.

— Дай-косъ, Савелій Потапычъ, я погляжу на сады-то твои! — говорилъ какой нибудь арестантъ, входя въ камеру Савелья.

И въ голосъ, и въ этомъ смѣхѣ слышалась ласковая нотка, которая такъ рѣдко звучитъ въ острожныхъ рѣчахъ и осторожномъ смѣхѣ. Почти всякій входившій продѣлывалъ одно и то же: долго смотрѣлъ на горохъ и подсолнухъ, — подсолнухъ почему-то особенно нравился арестантамъ и Савелью, — непременно потрогивалъ стебли и землю и поднималъ голову съ однимъ и тѣмъ же удивленнымъ выраженіемъ, говорившимъ: «а вѣдь въ самомъ дѣлѣ растетъ», какъ будто онъ только тутъ убѣждался, что это настоящій горохъ и настоящій подсолнухъ. Даже самъ великолѣпный Огузковъ удостоилъ Савелья лестнымъ замѣчаніемъ: «Какъ вы, Савелій Потапычъ, думаете насчетъ садовъ? Въ аренду сдадите, или, можетъ, смотрителю поставлять будете въ провіантъ арестантамъ?» При этомъ онъ обворожительно улыбнулся и ласково глянулъ — однимъ глазомъ на Кавказъ, другимъ на Арзамасъ.

Только богобоязненный старичекъ, обиженный общео невнимательностью и злой на смотрителя за

то, что послѣ какой-то ссоры тотъ запретилъ ему носить свое платье, проходя мимо камеры Савелья, умышленно громко ворчалъ, ни къ кому не обращаясь:

— Портить казенное строеніе — это ничего, можно. А кто ежели блюсти хочетъ Государево добро, — такъ это нѣтъ, не моги! Пар-р-ядки!!!

«Сады» Савелья дѣйствительно были очень красивы. Особенно хорошо выглядѣли они со двора, когда вѣтеръ слегка шевелилъ зеленое пятно на бѣлой каменной стѣнѣ. Стебли гороха сплошною стѣной вились около прутьевъ рѣшотки, голубенькіе цвѣты пестрѣли въ зелени, — горохъ разцвѣлъ, — а полуаршинный подсолнухъ гордо несъ широкіе, яркозеленые листья.

Нужно было видѣть, съ какою заботливостью ухаживалъ Савелій за своими садами и съ какимъ страхомъ поливалъ ихъ: смотритель объявилъ заранѣе, что, если хоть одна грязная полоска потечетъ по наружной сторонѣ стѣны, — «сады» будутъ безжалостно снесены, такъ что поливать ихъ приходилось ложкой. Савелій даже рѣже сталъ выходить на дворъ и предпочиталъ сидѣть около своихъ садовъ съ кѣмъ-нибудь изъ арестантовъ...

Горячій іюльскій полдень. Душно и жарко даже въ вѣчно холодныхъ стѣнахъ тюрьмы. Все, казалось, замерло. Дремлетъ часовой, еле двигая отяжелѣвшими ногами; какъ сонныя мухи, бродятъ арестанты

по двору; спитъ Васильчъ, низко опустивши голову и прикурнувши на своемъ табуретикѣ въ прохладномъ углу корридора.

У «садовъ Савелѣя» обычная компанія. На низенькой скамеечкѣ сидитъ дѣдушка Софронъ. Сквозь разстегнутый воротъ виднѣется лохматая сѣдая грудь и мѣдный восьмиконечный крестъ. Какъ все въ одну ноту жужжить шмель, залетѣвшій въ комнату и бьющійся въ стекла, такъ медленно и глухо гудитъ старческій голосъ:

— Въ Тобольскомъ... Начальникъ и говоритъ... — доносятся до меня отдѣльныя фразы. — Спокойся, говоритъ, старикъ, не тужи. Выправимъ, говоритъ, по формѣ... — гудитъ голосъ въ камерѣ. — Померъ... въ одночасье... не выправиль...

И опять монотонно гудитъ голосъ.

На нарахъ, уткнувши голову въ колѣна и обхвативъ голени руками, сидитъ Волчокъ, — молчитъ и о чемъ-то думаетъ.

Молчитъ и Савелій. Онъ сидитъ на подоконникѣ, прислонившись къ стѣнѣ, и, полуоборотивши голову, смотритъ чрезъ свои «сады» въ широкую даль, развертывающуюся за нѣсколькими домами пригородной слободки.

Вотъ такъ близко вьется темная лента рѣки, съ наклонившимися надъ ней ракетами, а за ней стелется широкое море желтой, спѣющей ржи. Вотъ легла зеленая полоса проса, мелькнуло красное пятно

гречихи, и опять желтое море несет свои волны далеко-далеко, туда, гдѣ темною лентой синѣть лѣсъ. Узенькая дорожка, какъ змѣйка, бѣжитъ между полосами ржи, гречи и проса, ныряетъ въ ложбины, взбирается на бугры и снова пропадаетъ, и снова бѣжитъ, и все дальше и дальше, туда, все къ тому же синему лѣсу... А надъ всѣмъ этимъ — горячее небо и бѣлыя, клубистыя облака медленно плывутъ высоко-высоко надъ землею... Дохнулъ вѣтеръ въ рѣшетчатое окно тюрьмы, потянуло прохладною свѣжестью рѣки и тѣмъ смутнымъ ароматомъ скошеннаго луга и зрѣющихъ полей... Шевельнулись голубенькіе цвѣточки гороха, качнулся лѣниво подсолнухъ, поднялась и опустилась русая прядь волосъ надъ блѣднымъ и сѣрымъ лицомъ....

Молчить старикъ, молчить Волчокъ, и оба смотреть туда же, на «Савельевы сады»... Все тихо кругомъ.

Загремѣли кандалы Огузкова, звякнулъ ключами Васильчъ, вздрагиваетъ Волчокъ, Савелій оборачивается и мутными глазами осматриваетъ камеру...

И снова, какъ гудѣнье шмеля, тянутся глухія, медлительныя слова.

«Савельевы сады» были въ полномъ разцвѣтѣ, когда смотритель объявилъ мнѣ, что на слѣдующій день я буду свободенъ. Я тотчасъ же сообщилъ это извѣстіе Савелью и, хотя каждую минуту ждалъ отъ него чего-нибудь, касающагося «воли», тѣмъ не

менѣе былъ очень удивленъ, когда онъ съ большою радостью, но спокойнѣе, нежели можно было думать, отвѣтилъ мнѣ:

— Такъ, такъ и... А я послѣ завтра ждалъ.

Освобожденіе для меня самого было неожиданностью, поэтому я съ удивленіемъ взглянулъ на него.

— Загадалъ я... — съ хитрою улыбкой заговорилъ Савелій въ отвѣтъ на мое оживленное лицо, — насчетъ подсолнуха... Коли, думаю, зацвѣтетъ въ тюрмѣ, — будетъ намъ съ тобой воля. Вчерась, смотрю, начинается. Глянь-ко!

Я не видалъ никакого цвѣтка на подсолнухѣ и съ любопытствомъ началъ разсматривать. Савелій былъ правъ: на верхушкѣ стебля оказалось утолщеніе величиной съ маленькую луковку. Между зелеными листочками вѣнчика слабо желтѣлъ какой-то пушокъ, — цвѣтокъ былъ такой же призрачный, какъ призрачна была надежда Савелья на близкую волю.

— Вишь цвѣту набираетъ!—слышу я за спиной торжествующій голосъ Савелья.

Поздно уложивши вещи, когда уже всѣ арестанты были заперты, усталый, я вышелъ на дворъ. Жаркій іюльскій вечеръ догоралъ, и солнце меркло въ сіяющей дали. Голубая дымка окутала замолкнувшій городъ и мягкимъ свѣтомъ легла на бѣлыя стѣны острога. Блѣдныя звѣзды загорались въ глу-

бокомъ небѣ. Синій дымокъ узкою лентой высоко вился изъ стоявшаго на дворѣ надзирательскаго самовара и медленно плылъ и таялъ въ голубой дымокъ недвижнаго воздуха. Гдѣ-то вдали глухо прогремѣли запоздавшія дрожки, за тюремною стѣной кто-то перебиралъ струны гитары, и робкіе, дрожащіе звуки тихо гасли, словно боясь разбудить дремлющій вечеръ. Сдержанный шепотъ неся изъ камеръ острога.

Въ этотъ тихій и нѣжный, задумчивый вечеръ, казалось, и острогъ затихъ и разнѣжился. Даже Огузковъ, вѣчно наполнявшій воздухъ неистовою руганью, какъ-то размякъ и размечтался. Онъ только-что выпущенъ изъ карцера, гдѣ просидѣлъ за буйство три дня. Мнѣ слышно, какъ онъ тихо шагаетъ въ своей камерѣ, мелодично погромыхивая кандалами. Вотъ красная и потная фигура его съ разстегнутою волосатою грудью подошла къ окну. Онъ заплелъ руки въ переплетъ рѣшотки и плотно прилегъ къ нему всею грудью. Огузковъ мечтаетъ.

— Ахъ, ты, братецъ ты мой! — слегка поворачиваетъ онъ голову назадъ, очевидно, обращаясь къ кому-то стоящему за нимъ. Онъ смотритъ на дымокъ, вьющійся изъ самовара, и вспоминаетъ прошлое.

— За день-то намаешься, шагамши-то... — доносится до меня. — Ноги, словно, не твои, одно слово — свинецъ... Мѣстечко этакое укромное... Ручеекъ

къ примѣру, только-что человѣчьимъ голосомъ не говорить... Вода—всю Рассею исходи, не сыщешь—слеза! А кругомъ-то тайга. Деревья — во-о, въ два обхвата не обхватишь! Товарищъ котелокъ налаживаетъ, — чайшка... Иной разъ водчонки охлопочемъ. Ляжешь, трубочку закуришь, а тайга-то надъ тобой шу-у-у!..

Огузковъ глубоко вздыхаетъ и молчить, задумался. Въ сосѣднемъ окнѣ видна темная голова Волчка, припавшая къ переплету рѣшотки. Очевидно, Волчокъ слушаетъ Огузкова и думаетъ свою думу...

— И дымокъ вотъ этакъ же, — снова слышится голосъ Огузкова, — вьется себѣ, не шелохнется... Духъ отъ него такой — не надышешься... Ахъ, ты, жизнь наша бродяжья! — Огузковъ вздыхаетъ. — И чего это тутъ томятъ насъ, канитель-то тянуть? Все одно — сбѣгу: какъ приду, такъ и махну — драло!..

Огузковъ долго продолжалъ говорить: я не слушалъ. Я такъ погрузился въ свои собственные мысли, что не замѣтилъ даже шума, поднявшагося въ острогѣ.

Бѣшеные крики Огузкова заставили меня очнуться. Я съ изумленіемъ взглянулъ въ окно и увидѣлъ такую сцену, что остановился какъ вкопанный. Огузковъ съ багровымъ лицомъ, налитыми кровью глазами и дрожащею нижнею челюстью, своими огромными ручищами изо всей силы трясъ

рѣшотку своего окна и кричалъ дикимъ, изступленнымъ голосомъ. Въ сосѣднемъ окнѣ, съ блѣднымъ, какъ полотно, злобнымъ лицомъ и горящими глазами стоялъ Волчокъ и, я не знаю какъ сказать, не то визжалъ, не то стоналъ. Масса арестантовъ прильнула къ окнамъ и въ какомъ-то изступленіи кричала и ревѣла разными голосами. Я ничего не понималъ. Подъ окнами стоялъ выскочившій изъ караулки старшой и что-то кричалъ арестантамъ, но голосъ его терялся въ общемъ ревѣ и визгѣ. На него даже не смотрѣли,—всѣ глаза были устремлены въ одну точку. Я взглянулъ по тому направленію и все понялъ.

По гребню сѣрой тюремной стѣны тихо ползла большая, съ желтыми пятнами, кошка. Невдалекѣ отъ нея, на углу стѣны, прыгалъ и что-то клевалъ носомъ и о чемъ-то весьма весело разговаривалъ маленькій воробушекъ. Легкомысленная птичка, очевидно, не подозрѣвала крадущейся къ ней смерти. Она беззаботно перепрыгивала съ мѣста на мѣсто, то скрываясь на другой сторонѣ стѣны, то снова показываясь на гребнѣ ея.

Было что-то жалкое въ этомъ безпечномъ весельѣ и ужасно подлое и гнусное въ томъ, что ползло крадущимися шагами къ этому беззаботному веселью.

Кошка ползла тихо, тихо, то останавливаясь и припадая къ ложбинѣ стѣны, когда воробушекъ

показывался на гребнѣ и могъ видѣть ее, то снова подвигаясь неслышными движеніями. Шумъ, несшійся изъ острога, очевидно, мало беспокоилъ ее: она настораживала уши, тихо поворачивала по направленію къ окнамъ свою круглую усатую голову, но продолжала медленно ползти. Кошка была совсемъ уже близко отъ птички; она прилегла и, выгнувши спину съ поднявшеюся шерстью, очевидно, готовилась прыгнуть, когда какой-то предметъ полетѣлъ изъ оконъ острога и со звономъ ударился о гребень стѣны. Воробушекъ взлетѣлъ и какъ-то беспомощно, съ безтолковою торопливостью захлопалъ крыльями... Кошка прыгнула неудачно и скрылась за стѣной.

Все это было такъ странно, такъ удивительно и такъ быстро произошло, что я все время стоялъ, какъ загипнотизированный, и очнулся только, когда улетѣла птичка.

Острогъ затихъ, но волненіе не улеглось. Радость большая, настоящая радость всѣхъ этихъ людей—воровъ, мошенниковъ, убійцъ,—радость по случаю спасенія воробушка и неудачи кошки сказывалась въ ихъ лицахъ, слышалась въ голосахъ, въ разговорахъ.

— А вѣдь ножикъ-то у Волчка пропалъ! — слышался чей-то трезвенный голосъ. — Солдаты слизнетъ, какъ пить дать — слизнетъ!

Я зналъ этотъ ножикъ,—Волчокъ при мнѣ очень

много трудился надъ его отдѣлкой. Этотъ ножикъ составлялъ главное сокровище Волчка, которое онъ надѣялся донести до Сахалина,—и я понялъ тутъ, какую жертву принесъ онъ, бросивши въ кошку свой ножикъ.

Арестанты долго не засыпали и вели безконечные разговоры о злодѣйскихъ свойствахъ кошекъ. Я заснулъ подъ шумъ чьего-то длиннаго разсказа о томъ, какъ кошка отѣла носъ у умиравшаго ребенка, какъ ребенокъ потомъ выздоровѣлъ, а кошка получила особенный вкусъ къ человѣческому мясу...

Не знаю, сколько времени я спалъ, когда новый шумъ, несшійся изъ общей камеры, разбудилъ меня. Мнѣ не хотѣлось вставать, но шумъ все росъ, и я кликнулъ Васильича.

— Что это у нихъ тамъ? — спросилъ я, когда деревянная нога Васильича приковыляла къ моему оконцу.

— Да вонъ баломуть-то нашъ всю камеру взбаломутилъ... — нехотя отвѣтилъ Васильичъ.

— Да кто? — недоумѣвалъ я.

— Извѣстно, Савелій. Кому больше? Крестъ, вишь, на небѣ явился, такъ, выходить, воля будетъ... — съ улыбкой проговорилъ Васильичъ и любезно отперъ дверь.

Я вышелъ въ корридоръ и заглянулъ въ дверное оконце общей камеры, куда незадолго передъ тѣмъ

переведенъ былъ Савелій съ своими «садами» и дѣдушкой Софрономъ. Мутный свѣтъ коптившей лампочки еле-еле освѣщаль огромную камеру. На нарахъ никого не было. Среди шумѣвшихъ, толкавшихся и лѣзшихъ къ окну арестантовъ бросалась въ глаза бѣлая фигура, показавшаяся мнѣ очень высокой и очень тонкой. Я позвалъ Савелья, но онъ не слыхаль меня, и, вмѣсто него, къ двери подошелъ сапожникъ, Семень Андреичъ, прозванный за огромные усы, серьезное лицо и невозмутимый нравъ «Мировой».

— Ужъ къ чему это, Иванычъ, — отвѣтилъ онъ на мой вопросъ, — въ точности не скажу, а только неспроста. Знаменіе! Савелій правильно говоритъ: никогда креста этого на небѣ не было, всѣ скажутъ. Плачетъ Софронъ-то, — радъ...

А въ толпѣ рѣзко звучаль голосъ бѣлой фигуры:

— Молитесь Богу, православные! Не забылъ Царь небесный насъ, горькихъ .. Привелъ Господь, увидимъ и мы, несчастные, свѣтъ Божій...

Я не сразу узналъ голосъ Савелья, — какъ-то сухо, медлительно, торжественно звучаль онъ...

— Близокъ часъ воли Божіей! — слышалось мнѣ. — Богу молитесь, православные, Царицѣ небесной.

Я не сталъ звать Савелья и отправился къ себѣ...

— Иванъ Иванычъ! — У оконца своей камеры стоялъ Волчокъ и, очевидно, слушаль, что проис-

ходило въ общей. Я тоже не сразу узналъ Волчка: весь волчій видъ его сразу пропалъ и остался только человѣкъ, — несчастный, слабый, плачущій ребенокъ. Онъ весь трясся, какъ въ лихорадкѣ, и, торопясь, всхлипывая, шепталъ мнѣ: — Иванъ Ивановичъ, родимый сударикъ! Да скажи ты мнѣ, правда-ли насчетъ креста-то? Ты самъ-то видѣлъ-ли? Нѣтъ, не видалъ, говоришь? Изъ моей тоже не видать. Хоть бы глазкомъ взглянуть! Взглянулъ бы — узналъ бы.

Онъ весь дрожалъ и хватался черезъ окно за мой рукавъ.

— Не уходи ты отъ меня! Истерпѣлся я, изстрадался... Вся душа-то изныла... Разговори ты меня какими-нибудь словами. Да ты скажи, самъ-то ты что думаешь насчетъ креста-то? Къ тому-ли? Иванъ Ивановичъ, родименькій, не тани ты меня, утѣшь ты мою сиротскую душу...

А изъ «общей» громко несло: «Пришелъ часъ воли Божіей...»

Что я сказалъ Волчку насчетъ креста, какъ знаменія воли, не помню. Помню только, какъ пронесся за мной громкій плачь и крикъ: «Головушка моя бѣдная!» — какъ что-то потомъ тяжело рухнуло въ одиночкѣ и какъ понеслись оттуда отчаянные, невозможные, нечеловѣческіе крики...

Мы долго прощались на другой день съ Савельемъ. Онъ выглядѣлъ усталымъ и измученнымъ.

— Ты вотъ что, Иванъ Ивановичъ: будешь съ хорошими людьми водиться,—спрошай... Услышишь,—вѣсточку дай, вотъ, хоть черезъ Васильича... — говорилъ онъ мнѣ на прощанье, вызвавши въ уголъ за кухней. Савелій проводилъ меня до воротъ.

— Ну, дай тебѣ Богъ!—твердилъ онъ.—Насъ не забывай!—крикнулъ онъ, когда уже калитка захлопнулась за мной...

Я не забылъ его. Я всматривался въ лица, я искалъ его тамъ, — тамъ, гдѣ могъ найти, — и не нашелъ.

Савелій, гдѣ ты? Пришелъ-ли твой часъ—твоя единственная воля—часъ воли Божіей, или ты все мѣряешь усталыми ногами далекую сибирскую землю?..

„ОКАЯННЫЙ ГОРОДЪ“.

I.

Если мнѣ скажутъ, что Окаяннаго города на земномъ шарѣ нѣтъ, я буду утверждать, что это — неправда. Такой городъ существуетъ, и не моя вина, что, по недоразумѣнію, онъ называется иначе.

Могутъ даже спорить, городъ-ли—поселеніе, въ которомъ двадцать два дома. Я не только буду утверждать, что это городъ,—я назову его столицей, такъ какъ онъ является административнымъ, умственнымъ и экономическимъ центромъ страны, величиною равняющейся чуть-ли не Франціи, и управляетъ нѣсколькими народами, каковы: остяки, юраки, долгане, тунгусы. И, потомъ, въ немъ есть все, что нужно, чтобъ имѣть право называться городомъ. Есть начальникъ края,—я не знаю, какъ его назвать: король, президентъ,—именующійся въ Окаянномъ городѣ скромнымъ титуломъ отдѣльнаго пристава, объѣзжающій разъ въ годъ свою имперію-тундру для сбора дани и поддержанія прести-

жа власти. Есть управляющій окаянскою почтовою частью, аккуратно разъ въ мѣсяцъ, кромѣ двухъ-трехъ мѣсяцевъ весной и осенью, когда всякія почтовые и иные сношенія съ остальнымъ міромъ прекращаются, оповѣщающій окаянскихъ правящихъ людей, что тамъ, гдѣ-то далеко, есть лица, надзирающія за Окайнымъ городомъ и его цивилизаторскою миссіей, и ежемѣсячно же отвѣчающій этимъ далекимъ людямъ, что окаянцы живы и высоко несутъ знамя этой миссіи. Есть священникъ-миссіонеръ, разъ въ годъ, какъ и приставъ, объѣзжающій тундру для воспитанія дикихъ народовъ въ правилахъ христіанской религіи, крестящій, вѣнчающій и отпѣвающій въ это время всѣхъ, кого тундра успѣла за годъ народить, переженить и похоронить. Есть докторъ, есть церковь, есть острогъ. Относительно послѣдняго нужно оговориться. Приставъ, веселый господинъ, очень любитъ пошутить съ пріѣзжими насчетъ острога. Когда пріѣзжій чело-вѣкъ спрашиваетъ, гдѣ остановиться, приставъ коротко и рѣшительно говоритъ: «пожалуйте въ острогъ». Если же тотъ съ недоумѣніемъ вытаращитъ глаза,—бываютъ такіе пріѣзжіе, которые обижаются, принимая это за личный намекъ, — приставъ хохочетъ и успокоиваетъ:

— Я пошутилъ, вѣдь это одно только слово, что острогъ. Тамъ господа пріѣзжіе постоянно останавливаются, въ немъ арестантовъ-то никогда

не было. Я шесть лѣтъ приставомъ здѣсь, только и былъ случай, какъ тунгусишка сестру съѣлъ съ голодухи,—можетъ, изволили читать въ газетахъ?—ну, такъ я его живо въ губернію отправилъ. Въ нашемъ острогѣ ни надзирателей, ни караула не полагается.

Пріѣзжему человѣку оставалось только поблагодарить и личнымъ опытомъ убѣдиться, что это лучшая и единственная гостиница въ городѣ.

Центральная фигура окаянской жизни, около которой и ради которой существуютъ Окаянный городъ и его правящіе классы, это—остякъ. Мѣстные люди за послѣднее время недовольны остякомъ.

— Какая наша жизнь, господинъ!—говаривала, пригорюнившись, пріѣзжему человѣку бабушка Копылиха, представительница колониальной торговли въ Окаянномъ городѣ, поторговывавшая потихоньку и спиртомъ. — Житья сейчасъ не стало отъ остяка,—ужъ такая китрая тварь сдѣлался, и сказать нельзя.

Хоть Копылиха была убѣждена въ своемъ русскомъ происхожденіи,—языкъ во рту ея былъ несомнѣнно остяцкій. Она выговаривала «сисясь», вмѣсто сейчасъ, и «китрая»—вмѣсто хитрая.

— ...Да вотъ скажу: приходитъ это остякъ и говорить: «дай, бабуска, фунтикъ чаю; песца принеси»

Отвѣсила я ему три четверочки и говорю: вотъ

тебѣ фунтикъ, — а онъ это потрясъ въ рукѣ-то, — «нѣтъ, говоритъ, бабуска, не будетъ фунтика». И вѣдь пошелъ, подлець, къ сосѣду, свѣсилъ. Что-жъ тутъ подѣлаешь, осьмушку и прикинула. А прежде-то дашь ему полфунта: «вотъ тебѣ, скажешь, фунтикъ» — и вѣрить, и вѣрить... Ужъ такая ли китрая тварь звѣрь-то этотъ сдѣлался, такая ли китрая...

— Подлецъ народишко, совсѣмъ испаскудился! — авторитетно заявляетъ отъ себя приставъ, если пріѣзжій человѣкъ желалъ знать его мнѣніе. Если приставъ при этомъ выпивши, то онъ любитъ рассказывать о добродѣтеляхъ и добродушіи прежняго остяка:

— Раньше просто было. Да вотъ предмѣстникъ мой Степанъ Флегонтовичъ, — не изволите быть знакомы? — какую штуку удралъ здѣсь.

Объявляетъ онъ разнымъ князькамъ: остяцкимъ, ютацкимъ и всякимъ тамъ, — что пришла, молъ, изъ Питера бумага собрать съ нихъ соболей министру на шубу, — тому, молъ, наибольшему министру, что править всей русской тундрой.

Ну, носятъ, годъ носятъ, два носятъ, какъ можете понять, — одушевляется приставъ, — министерскихъ соболей! Ну, а потомъ догадались, пришли къ приставу, вотъ тутъ у крыльца и дѣло было.

— Бумага, говорятъ, была на одну шубу, а мы,

чай, и на одѣяло, и на рукавицы, и на шапку на-
таскали.

... Что-жъ вы думаете, Степанъ Флегонтовичъ?..

— Вы что, подлецы, говорить, думаете, министръ
такая же (извините за выраженіе) вошь, какъ вы
будетъ?.. Вотъ онъ какой! — и показываетъ, знаете,
на колокольню. Ну, оно хоть церковь у насъ и не
больно велика, а все-таки посмотрѣли князьки,
посмотрѣли и домой ушли. И съ полгода, поди
еще носили, пока Степана Флегонтовича исправни-
комъ не перевели, а къ тому времени и шуба ока-
залась полная... Вотъ оно какъ, батенька, бывало;
теперь его ужъ не поддѣнешь...

Признавая вполнѣ основательность негодованія
бабушки Копылихи на нарушеніе остякомъ ея
священнѣйшихъ правъ, признавая и авторитетность
отдѣльнаго пристава, я все-таки не могу совер-
шенно согласиться съ ними. Остякъ совсѣмъ ужъ
не такой подлецъ и не такая хитрая тварь, какъ
увѣряютъ они. Онъ и теперь, и даже безъ мини-
стерской бумаги, носить соболей на шубу пристава
и на шапку, и не только на его шубу, но и на шубу
жены и дѣтей, и родныхъ, и знакомыхъ, что жи-
вуть въ губерніи и блюдутъ интересы его, при-
става. Онъ даетъ соболей священнику-миссіонеру, —
даетъ за своихъ шамановъ, прогоняющихъ ту страш-
ную болѣзнь, отъ которой проваливаются носы и
гніють остяцкія кости, и еще болѣе страшную бо-

лѣзнь, что обливаетъ тѣло гнойными пузырьками и отъ которой люди и слѣпнутъ, и глохнутъ, и вымираютъ цѣлыми родами, и ту болѣзнь, что злымъ духомъ забирается въ голову и рветъ остояцкій мозгъ, и кричитъ оттуда дикими, отчаянными криками, и многія другія болѣзни, отъ которыхъ онъ, остякъ умираетъ и умираетъ, и отъ которыхъ только шаманъ, мало-мало оберегаетъ бѣдное, беззащитное остяцкое тѣло. Даетъ остякъ соболей и песцовъ за то, что нѣтъ въ его юртѣ Николы, котораго онъ такъ боится и почитаетъ,—того страшнаго Николы, который все видитъ, даже если остякъ обратитъ его лицомъ къ стѣнкѣ, — и видитъ не только то, какъ остякъ ѣстъ въ постъ грѣшнаго гуся, но и куда онъ спряталъ своихъ соболей,—и знаетъ, что онъ, остякъ, думаетъ про попа и про начальство, и все это говоритъ своему шаману-попу... Даетъ остякъ за все то, что принесла ему и чего лишила новая вѣра.

Онъ со всѣмъ усердіемъ и съ полнымъ избыткомъ вознаграждаетъ соболями и песцами того купца, что, какъ король, владѣетъ тундрой и отпускаетъ въ долгъ остяку нѣсколько фунтовъ муки когда онъ соберется умирать съ голоду и вздумаетъ ѣсть своихъ сестеръ и братьевъ.

Онъ и теперь простъ и незлобивъ, этотъ остякъ.

Когда обезумѣвшій отъ неочищеннаго спирта сынъ или приказчикъ этого купца бьетъ его кула-

комъ, хлещетъ ременною плетью, топчетъ ногами, остякъ только плачетъ, хотя и остяцкими, не стоящими вниманія, по мнѣнію этого сына или приказчика, но, тѣмъ не менѣе, настоящими горькими человѣческими слезами, валяется въ ногахъ бьющаго и только молить простить его, — простить и за то, что онъ огорчаетъ его хозяина и утруждаетъ хозяйскую бьющую руку, и за то, что онъ, остякъ, родился на свѣтъ и все еще живъ, и все еще неизвѣстно за какою надобностью мотается на свѣтъ.

И никогда никакихъ исковъ за свороченныя скулы остякъ не вчинаетъ, хотя бы и было гдѣ вчинать, и бесконечно счастливъ, если очнувшійся звѣрь дастъ ему стаканъ спирту въ награду за сломанные ребра. И нужно очень немного, чтобы темная, голодная и иззябшая остяцкая душа согрѣлась и наполнилась свѣтомъ и радостью.

Приходила весна, заглядывающая и въ окаенныя мѣста, вставало надъ землей, три мѣсяца не сойти съ неба, теплое солнце, съ ревомъ и грохотомъ неслись ледяныя горы по огромной рѣкѣ, наполняя воздухъ немолчными криками, несутся несмѣтныя стаи птицъ, оттаиваетъ и зеленѣетъ мерзлая тундра, оттаиваетъ и радуется остяцкая душа.

За полторы тысячи верстъ изъ ближайшаго города—страны чудесъ, гдѣ дома — какъ холмы тун-

дры и люди круглый годъ ѣдятъ хлѣбъ и пьютъ водку, — къ остью приплываютъ и пароходы, и огромныя барки, и крытыя лодки. Они везутъ остью сию дабу и красный ситецъ, что, какъ огонь, горитъ передъ глазами, и тѣ желѣзные котелки, въ которыхъ такъ хорошо варится чай и лакомое остью блюдо, состоящее изъ воды съ плавающими въ ней комочками муки, и цѣлыя тюки чая, и цѣлыя горы муки, и боченки съ хлѣбнымъ масломъ *), которое дороже всего для остья.

Изъ нѣдръ тундры выходитъ ость со своею женой и дѣтьми, и для него начинается праздникъ жизни.

Онъ торгуетъ и призываетъ на помощь всю хитрость, на которую способна его нехитрая голова. Онъ идетъ не къ тому покупателю, которому остался долженъ въ прошломъ году, а идетъ къ другому, которому давно не продавалъ и который, какъ надеется ость, навѣрное ужъ забылъ о долгѣ, когда-то оставшемся за нимъ, остью. У него въ рукахъ плохіе соболи, песцы и лисицы, — онъ хочетъ спустить сначала товаръ поплоче. Голубыхъ песцовъ и чернаго, какъ ночь, соболя, и чернобурую лисицу, за которой онъ гонялся нѣсколько недѣль по тундрѣ, ость обернулъ вокругъ тѣла, чтобы

*) Ввозъ спирта къ инородцамъ запрещенъ подѣ страхомъ серьезнаго наказанія, и спиртъ доставляется къ нимъ подѣ названіемъ хлѣбнаго масла.

продать послѣдними. Кромѣ этого, въ тайникахъ души онъ мечтаетъ, что когда онъ выпьетъ,—а онъ знаетъ, что выпьетъ,—онъ забудетъ про эти такъ глубоко спрятанныя шкуры и, визнавши цѣны, возьметъ, какую захочетъ. Протягивается палецъ остяцкой руки, означающій рубль, палецъ перекрещивается пополамъ другимъ пальцемъ, что означаетъ полтинникъ, отмѣчается четверть пальца — четверть рубля. Остякъ справляется со своимъ календаремъ,—его записною книжкой,—висящимъ у его пояса продолговатымъ кускомъ мамонтовой кости, на которомъ цѣлая система зарубокъ означаетъ для остяка дни и мѣсяцы, и года, и чуть ли не вѣка. Назначаются сроки доставки, устанавливаются цѣны на соболя и лисицу, на рыбу и мамонтовую кость.

О, онъ хитрый остякъ и тонко ведетъ свое дѣло! Но торговля идетъ такъ медленно, а боченки дразнятъ его, и запахъ хлѣбнаго масла, наполняющій пароходную каюту-лавку, раздражаетъ его ноздри и царапаетъ горло.

— Козяинъ,—говоритъ остякъ, указывая на боченокъ съ хлѣбнымъ масломъ. — Козяинъ! — твердитъ онъ, объясняя, что нужно поднести и женѣ, и дѣтямъ.

Хозяинъ подноситъ и ему, и женѣ, и дѣтямъ, начиная отъ грудного ребенка, и еще разъ, и еще, и отъ такой ласки остяцкое сердце размягчается все болѣе и болѣе.

— Козяинъ!..—молить онъ.

Какъ богачъ, какъ царь тундры, раздаетъ онъ свои богатства, вынимаются обернутые вокругъ тѣла соболи и лисицы, о которыхъ, какъ и о старомъ долгѣ, вспоминаетъ хозяинъ прежде его самого, продается рыба, предназначенная другому хозяину въ уплату прошлогодняго долга, продается и та рыба, что должна попасть въ его неводъ въ слѣдующемъ году, и тѣ соболи и песцы, которые беззаботно бѣгаютъ въ тундрѣ и тайгѣ, и та мамонтова кость, которую отмоетъ отъ берега будущій разливъ. Продавать больше нечего. Что за дѣло, что остякъ остается долженъ двумъ хозяевамъ и никогда не будетъ въ состояніи расплатиться съ ними,—его сердце и душа полны радостью жизни, и въ рукахъ у него мѣшокъ муки и плитка чаю, и желѣзный котелокъ, и у жены бусы и бисеръ, и лоскутки красной, желтой и синей матеріи, которыми она обошьетъ и унижетъ его и свою доху.

И они выходятъ на берегъ и пляшутъ, взявшись за руки и мѣрно раскачиваясь въ тактъ пѣсни и шумящаго въ головѣ хлѣбнаго масла. И поютъ они такую же долгую и такую же смутную пѣсню безъ словъ, какъ тотъ вѣтеръ, что день и ночь носится по тундрѣ, шевеля мохъ и раскачивая тощіе и чахлые, какъ остяцкія тѣла, кустарники тундры.

II.

Остякъ составлялъ главное содержаніе жизни окаянскихъ культурныхъ людей, но онъ былъ буднями, скучною прозой ихъ жизни. Праздникъ, поэзія, то, чѣмъ они были живы—былъ спиртъ. Водки въ Окаянномъ городѣ не пили,—она могла замерзнуть въ дорогѣ, да и не такъ быстро согрѣвала мерзлую тундру.

И праздниковъ въ жизни окаянскихъ культурныхъ людей было гораздо больше, чѣмъ будней. Еще два-три мѣсяца, когда приставъ и священникъ объѣзжали тундру, скучный остякъ такъ или иначе отнималъ время и трудъ ихъ. Выѣзжали изъ тундры, и скучныя дѣла прекращались. Особенно широкій праздникъ начинался въ Окаянномъ городѣ, когда трехмѣсячная ночь спускалась надъ землей.

Пили и напивались въ одиночку, но чаще вмѣстѣ, такъ какъ кружокъ держался дружно. Тогда приставъ, толстенькій, маленькій человѣкъ, причесывавшій свои рѣдкіе волосы на лѣвый високъ, какъ у губернатора, рассказывалъ свои безконечныя исторіи про архіереевъ и губернаторовъ, съ которыми, повидимому, онъ былъ въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ. Въ концѣ рассказовъ выходило, что не будь придворныхъ интригъ, онъ, приставъ, не сидѣлъ бы въ этой чертовой ямѣ, а былъ бы уже

совѣтникомъ, а можетъ быть и правителемъ канцеляріи.

Его помощникъ, съ рѣзкимъ остяцкимъ типомъ лица, лѣтомъ ловившій рыбу, а зимой точившій подсвѣчники изъ мамонтовой кости, обыкновенно молчаливый, неизмѣнно приходилъ въ бѣшенство и порывался драться.

Управляющій окаянскою почтой, длинный и унылый чахоточный человекъ, игралъ на гитарѣ, пѣлъ «Я лечу подъ парусами» и рассказывалъ романтическія исторіи изъ своего прошлаго. Докторъ или плакалъ и лѣзъ со всѣми обниматься, или весело смѣялся. Священникъ всѣхъ угощалъ, пилъ больше всѣхъ и былъ трезвѣе всѣхъ.

Случалось, если было очень весело, что всѣ сваливались и засыпали тамъ, гдѣ держали послѣдній стаканъ, «приходили къ одному знаменателю», какъ выражался священникъ, — онъ любилъ употреблять тонкія ученые слова, вынесенныя имъ изъ двухлѣтняго пребыванія въ духовномъ училищѣ. Настоящее образованіе священникъ получилъ въ селѣ, пограничномъ съ остяцкою землею, гдѣ онъ фигурировалъ совсѣмъ не въ духовной роли. Тамъ изучилъ онъ остяцкій языкъ и остяцкіе нравы и тамъ приготавлился къ своей миссіонерской дѣятельности. Онъ же мнѣ рассказывалъ ту знаменитую окаянскую исторію, которой я мало вѣрилъ раньше:

— ...Было дѣло, что грѣха таить, — подъ уголов-

щину, батюшка, попали изъ за этого спирта. Только это врутъ, что при мнѣ было, — передо мной. Потягиваютъ наши окаянцы спиртъ,—ну, знаете, въ другой разъ и натянутся «соборне». Проснутся,—часы стоятъ; заведутъ ихъ на глазомѣрь, по соображенію, сколько выпито было. Шутъ его знаетъ—сколько: можетъ, пять часовъ, можетъ, десять проспали, потому все ночь, три мѣсяца ночь. Да и позвольте знать, кому они, часы, нужны тамъ? И часовъ-то было пять ли, шесть ли въ городѣ. Заводили это они, заводили, — приходитъ Свѣтлое Христово Воскресенье. Ну, какъ быть должно, честью-честью, лицъ накрашили, службу отслужили, разговляются у пристава, выпиваютъ. Вдругъ слышать — почта изъ губерніи. Къ празднику да еще праздникъ! Они къ почталіону: «Христось воскресе!», а онъ таращитъ на нихъ глаза:

«Что вы, говоритъ, черти оглашенные, въ страстную пятницу Христово Воскресенье празднуете?.. Будьте вы прокляты!»

— Понимаете, это они часы-то зимой на глазомѣрь заводили все! Знаете, — засмѣялся священникъ,—какъ меня назначали въ Окаанный, начальство на прощаньи и говоритъ: «Вы хоть часы съ недѣльнымъ заводомъ купите,—все, чай, тамъ хоть одинъ-то день въ недѣлю трезвый бываетъ». — Шутить.

— Ну, а дѣло-то?—спросилъ я.

— Такъ, вѣдь, это смѣху ради! По обвиненію въ кощунствѣ... Оно и теперь лежитъ въ губерніи. Какъ кто изъ Россіи пріѣдетъ, такъ и показываютъ: вотъ, молъ, какъ у насъ пьютъ!

Только у доктора не было ни будней, ни праздника. Было время, когда онъ не зналъ спирта и зналъ только остяка. Тогда онъ скакалъ тысячи верстъ по безбрежной тундрѣ, искоренялъ сифились, устраивалъ оспопрививаніе, мечталъ и даже хлопоталъ о школѣ... Это давно было, когда молодымъ врачомъ, двадцать лѣтъ назадъ, онъ пріѣхалъ въ Окаянный городъ. Постепенно спиртъ занялъ мѣсто остяка въ сердцѣ доктора. Послѣднія десять лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ собаки привезли изъ тундры полуживого, обмерзшаго доктора, онъ никуда не ѣздилъ, толстые пакеты съ бурыми печатями, заключавшіе въ себѣ «циркулярныя» и «строжайшія» предписанія о «немедленномъ искорененіи», «скорѣйшей помощи» и прочее, оставались нераспечатанными, и только разъ въ годъ управляющій окаянскою почтовою частью писалъ отчетъ о санитарномъ состояніи Окаяннаго округа за годъ, т.-е. переписывалъ послѣдній, десять лѣтъ назадъ составленный докторомъ годичный отчетъ, а безобразная каракуля въ концѣ отчета изображала подпись доктора и удостовѣряла губернское врачебное отдѣ-

леніе, что окаянскій докторъ живъ и еще подписываетъ свою фамилію. Казалось, его забыли всѣ, какъ и онъ всѣхъ и все. Онъ не выписывалъ лѣкарствъ, ему и не высылали ихъ. У него не было ни аптеки, ни инструментовъ, ни больницы, ни больныхъ, — онъ былъ такимъ же докторомъ для формы, какъ острогъ, у котораго не было ни замковъ, ни надзирателей, ни арестантовъ.

Настоящимъ окаянскимъ лѣкаремъ считался остякъ Малафейка, шуринъ доктора, котораго онъ, вмѣстѣ съ женой, маленькимъ мальчикомъ вывезъ изъ тундры. Изъ Малафейки вышелъ хирургъ. Остяцкимъ кинжаломъ онъ вырѣзывалъ опухоли, заливая рану растопленною пихтовою смолой, и долотомъ выдалбливалъ засѣвшую въ кости пулю. Онъ же отрѣзалъ самому доктору отмороженные пальцы на рукахъ и ногахъ, причемъ Малафейка оставилъ только большой палецъ на правой рукѣ, какъ будто нарочно затѣмъ, чтобы доктору было чѣмъ подхватывать стаканъ со спиртомъ.

Пристава пріѣзжали и уѣзжали, спивались и умирали въ Окаянномъ, получали повышенія и переводились исправниками, а чаще всего попадали подъ судъ, — докторъ не просилъ о переводѣ и нигде не выѣзжалъ. Бывали чиновники новаторы, не сразу спивавшіеся, бывали прожектеры, страстные охотники, одинъ приставъ хотѣлъ ввести винтъ въ нравы Окаяннаго, — докторъ не писалъ проектовъ,

не охотился, не рыбачилъ и не игралъ въ винтъ, а только пилъ. Съ годами онъ все болѣе и болѣе обостячивался. Въ началѣ женитьбы онъ пробовалъ цивилизовать жену и Малафейку училъ русскому языку, при помощи жены священника приучалъ жену къ хозяйству, пробовалъ даже учить читать и писать, — кончилось тѣмъ, что жена и Малафейка обостячили его самого: жена снова надѣла свое остяцкое платье и забыла русскія блюда; въ домѣ говорили только по-остяцки; вяленая рыба, полусырая оленина и болтушка съ мукой сдѣлались главною пищею; Малафейкины лыжи, охотничьи и рыболовныя снасти, вонь отъ рыбы и собакъ и остяцкая грязь наполнили комнаты. Когда же изъ тундры наѣзжали родственники и знакомые Малафейки, домъ доктора обращался въ настоящую остяцкую юрту.

Утромъ докторъ выпивалъ стаканъ спирту: это былъ утренній чай его, и съ него начинался рабочій день доктора. Послѣ этого онъ садился въ старое кресло, какимъ-то чудомъ попавшее въ Окаянный городъ, и звалъ къ себѣ кота. Бѣлый, какъ снѣгъ, съ пушистымъ хвостомъ, большой сибирскій котъ былъ единственнымъ другомъ доктора и наполнялъ собою весь день его. Наигравшись, котъ усаживался на окно и вмѣстѣ съ докторомъ начиналъ смотрѣть на улицу. Они смотрѣли, какъ грызутся собаки, какъ проѣдетъ на оленѣ тунгусъ къ Копылихѣ,

какъ пьяный приставъ, спотыкаясь, возвращается отъ священника. Выпьеть докторъ спирту еще и еще и станетъ всхрапывать; и котъ свернется на его колѣняхъ и заснетъ. Бывали и драмы: ворвутся въ комнату ѣздовья собаки Малафейки, и начнетъ котъ летать, съ вытянутымъ, какъ руль, хвостомъ, съ печки на шкафъ, и докторъ любитъ на ловкость своего кота.

Пьяный докторъ иногда лѣзь драться, тогда жена его, ширококостная, скуластая остячка, не отстававшая отъ мужа въ выпивкѣ, вмѣстѣ съ Малафейкой валили его на полъ и били, чаще же онъ дѣлался веселъ, смѣялся безсмысленнымъ смѣхомъ и, брызгая слюной, мороженымъ языкомъ говорилъ мерзлыя, мало понятныя рѣчи.

Такъ онъ жилъ, полуживой, съ обмороженнымъ тѣломъ, съ затопленною спиртомъ душой—не чело-вѣкъ, но сохраняя видимость чело-вѣка.

Быть можетъ, докторъ долго и мирно прожилъ бы, если бы въ Окаянномъ городѣ не случилось происшествія столь же страннаго, какъ открытіе въ Окаянномъ англійскаго парламента или появленіе итальянской оперы. Въ Окаянномъ городѣ явилась школа.

Мысль о ней возникла въ томъ городѣ, который снабжалъ остяковъ хлѣбнымъ масломъ, и возникла у сыновей и дочерей тѣхъ купцовъ, которые возили его въ Окаянный городъ. Средства нашлись ско-

ро, — въ Сибири ни на что такъ легко и обильно не поступаютъ пожертвованія, какъ на всякаго рода учебныя заведенія. Въ томъ же городѣ нашлись люди, мужъ съ женой—учитель и учительница городского училища, которые пожелали распространять науку въ окаянной тундрѣ. Гдѣ-то успѣли они собрать учениковъ и, пока строилось новое зданіе школы, маленькое помѣщеніе Копылихи украсилось вывѣской «Окаянское Начальное Училище».

Надо думать, съ основанія Окаяннаго города эти новые гости были первыми людьми, которые оставались очень довольны своею жизнью. Кромѣ школы, они нашли себѣ и другія занятія. Василій Ивановичъ, — такъ звали учителя, — при первомъ же случаѣ упросилъ священника взять его съ собой въ тундру, исколесилъ не одну тысячу верстъ, записывалъ слова, расспрашивалъ о нравахъ и обычаяхъ и привезъ обильный этнографическій матеріалъ. Его жена собирала зоологическія коллекціи,—она окончила Бестужевскіе курсы,—и нашла даже совсѣмъ неизвѣстную рыбу, привезенную въ первый разъ изъ дальняго озера, которую мѣстные рыболовы тутъ же окрестили «безымянкой». Свои коллекціи она отправляла въ ближайшій сибирскій музей.

Новые люди мечтали, что ихъ дѣятельность — первые шаги, что изъ ихъ учениковъ выйдутъ буду-

щіе помощники, которые пройдутъ университеты и воротятся въ свою тундру, мечтали, что имъ удастся спасти и не дать погибнуть этому вымирающему народу — такому доброму и такому безпомощному, такому несчастному. Ихъ мечты разгорались все ярче и ярче, какъ сѣверное сіяніе, свѣтившееся по ночамъ сквозь льдину ихъ комнаты и заливавшее страннымъ свѣтомъ бѣлую пустыню тундры, — такое же фантастическое, какъ и ихъ мечты.

Ихъ приняли дружелюбно въ Окаянномъ городѣ. Приставъ, получившій отъ губернатора бумагу о «содѣйствіи», сгоряча предложилъ даже отвести острогъ подъ школу. Правда, мѣстные люди нѣсколько разочаровались, когда узнали, что ни мужъ, ни жена не пьютъ спирту, но школа, тѣмъ не мѣнѣе, была принята ласково.

Ближе всѣхъ познакомился съ новыми людьми докторъ. Ежедневно по пустой улицѣ Окаяннаго города плелся онъ въ школу, лѣто и зиму одѣтый въ одно и то же, на песцовомъ мѣху, пальто, съ измызганною оленьей шапкой на головѣ и въ остяцкихъ мѣховыхъ сапогахъ. Что тянуло его въ школу, трудно сказать. Быть можетъ, его изумлялъ этотъ необычный и странный въ Окаянномъ видъ дѣтскихъ головокъ, наклонившихся надъ книжками, а быть можетъ интересовали сами новые люди, также странные, также необычные въ Окаянномъ городѣ. Докторъ молча входилъ и молча си-

дѣлъ въ углу, покуривая коротенькую трубочку и слѣдя своими мутными оловянными глазами за вставшими для отвѣта и садившимися учениками. Повидимому, его особенное вниманіе привлекали двое остяцкихъ мальчиковъ, учившихся въ школѣ. Когда они затруднялись выговорить трудные для нихъ русскіе слога и составить слово, онъ начиналъ сильно беспокоиться, ворочался на своемъ стулѣ, сердито постукивалъ ногой по полу и что-то жевалъ губами, словно хотѣлъ подсказать. Когда же слово выходило удачно, онъ дѣлался очень веселъ, подмигивалъ Василью Ивановичу, бормоталъ про себя свое любимое слово: «ладно», «ладно» — и сильнѣе обыкновеннаго затягивался изъ трубочки. Дѣти уходили, докторъ оставался. Его не занимали; онъ и не требовалъ, да съ нимъ и трудно было разговаривать. Иногда онъ просилъ спирту, и если ему отказывали, онъ не сердился, одобрительно качалъ головой, бормоталъ: «ладно», «ладно» — и продолжалъ сидѣть, посасывая трубку и что-то бормоча, словно жуя губами. Когда спиртъ начиналъ настойчиво звать къ себѣ, онъ вставалъ и уходилъ, чтобы на другой день снова придти.

Пришло время, и докторъ, казалось, все забывшій, началъ вспоминать. Василій Ивановичъ случайно открылъ на чердакѣ у Копылихи цѣлый складъ книгъ и исписанныхъ бумагъ, въ которыя она завертывала немудрые товары своей лавочки. Тутъ

нашлось нѣсколько книгъ, наиболѣе популярныхъ въ 60-хъ годахъ, и разрозненные, полуизорванные года «Современника» и «Отечествен. Записокъ» съ замѣтками на поляхъ, съ подчеркнутыми строками. Эти-то книги и попались на глаза доктору. Сначала онъ равнодушно просматривалъ заглавія книгъ и такъ же равнодушно откладывалъ ихъ на столъ, но потомъ что-то вродѣ удивленія и интереса показалось на его застывшемъ, обрюзгломъ лицѣ. Онъ отобралъ нѣсколько книгъ и унесъ ихъ съ собой.

Докторъ не являлся нѣсколько дней, и когда пришелъ, было очевидно, что онъ что-то вспоминалъ. Онъ былъ почти не пьянъ и хотѣлъ все говорить, говорить. Большой палецъ руки настойчиво тыкалъ въ одно и то же имя на обложкѣ журнала, и мороженный языкъ съ мучительнымъ упорствомъ старался выговорить тѣ слова и тѣ имена, отъ которыхъ онъ отвыкъ; въ мутныхъ глазахъ, казалось, что-то ожило и засвѣтилось, и мутные глаза плакали...

Страшное, проклятое сибирское слово: «пропаль», «пропаль» — совершенно явственно выдѣлялось изъ мало понятной рѣчи доктора, и какъ ни сбивчиво говорилъ онъ, слушавшіе его все-таки поняли, что всѣ эти книги — его, доктора, что онъ учился тогда, когда писались эти книги, и что онъ зналъ того, чье имя онъ указывалъ пальцемъ, и особенно ясно поняли, что онъ пропаль, и плачетъ о томъ, что пропаль...

Докторъ вспоминалъ все болѣе и болѣе; онъ, десять лѣтъ не издавшій печатной строки, началъ читать, онъ сталъ даже меньше пить.

Эта память дорого обошлась доктору. Его нашли плавающимъ въ крови, съ недорѣзаннымъ горломъ, — очевидно, привыкшій къ стакану докторскій палецъ не справился съ ножомъ. Докторъ не умеръ отъ раны, но и не оправился какъ слѣдуетъ. Похудѣвшій, осунувшійся, цѣлыми днями лежалъ онъ, безучастно смотря куда-то въ пространство, не отвѣчая на вопросы и только изрѣдка поглаживая не отходившаго отъ него кота.

Съ первымъ пароходомъ доктора отправили въ губернскую больницу вмѣстѣ съ женой, которая наотрѣзъ отказалась отпустить мужа одного и заявила: «вмѣстѣ жили, вмѣстѣ и пропадать будемъ». Она очень удивила окаянскихъ людей, знавшихъ докторскую жену за пьяницу, повидимому равнодушную ко всему, кромѣ спирта.

Она не отходила отъ доктора ни на шагъ, вспомнила тѣ русскія ласковыя слова, которыя когда-то знала, и русскія блюда, что когда-то любилъ онъ. Потихоньку ото всѣхъ она послала Малафейку въ дальнюю тундру за тѣмъ великимъ шаманомъ, противъ котораго не могла устоять ни одна болѣзнь, и очень огорчилась, когда докторъ не позволилъ шаману выгнать злого духа, засѣвшаго въ докторской головѣ. Особенно же она огорчалась, что мужъ ея

не дотрогивался до стакана со спиртомъ, который она постоянно ставила на виду, — вѣдь онъ такъ любилъ спиртъ...

Докторъ только мѣсяцъ прожилъ въ губернской больницѣ. Такой же равнодушный ко всему, что окружало его, онъ медленно угасалъ и умеръ незамѣтно для всѣхъ. На другой же день, къ удивленію больничныхъ врачей, умерла и жена его. Она не жаловалась ни на какую болѣзнь и только говорила, что у ней подъ сердцемъ тоска и что тоска грызетъ ее. И не было шамана, который бы выгналъ тоску изъ тѣла бѣдной, одинокой остячки, и должно-быть эта тоска загрызла ее.

АБАКАНСКАЯ СТЕПЬ.

Все могилы, могилы... Отъ Саянскихъ горъ, что полукругомъ обошли широкую степь, до темныхъ лѣсовъ, обнявшихъ ее съ сѣвера, на сотни верстъ нескончаемою вереницей тянутся десятки тысячъ могильниковъ. То какъ сторожевой пикетъ на степномъ бугрѣ, то какъ кружокъ близкихъ родственниковъ, собравшихся въ тихой долинѣ у степного ручья, то какъ большой городъ, раскинувшійся на нѣсколько верстъ на ровной площади, — они заполнили степь, наполнили ее отъ края до края. Высокіе, въ человѣческій ростъ, плоскіе камни, врытые въ землю и поставленные стоймя, окружаютъ каждую могилу, словно стерегутъ ее.

Могильные камни, заросшіе травой огромные оросительные каналы, засыпанные землей шахты и подземные ходы для добыванія мѣди, серебра и золота, да таинственныя письмена, начертанныя на высокихъ скалахъ, угрюмо нависшихъ надъ Енисеемъ, гдѣ летаютъ только орлы, — вотъ все, что

осталось отъ могучаго народа, когда-то наполнявшаго степь и жившаго огромною жизнью. Онъ унесъ все съ собою въ могилу: унесъ свои мѣдныя стрѣлы, свои чудные бронзовые ножи и странныя золотыя и серебряныя украшенія; онъ похоронилъ съ собою свое прошлое, свою исторію, свой языкъ, даже самое имя свое. Не одну тысячу лѣтъ встаетъ солнце надъ степью-кладбищемъ — и все такъ же обросшіе мхомъ камни стерегутъ старыя могилы, все такую же темною загадкой стоятъ предъ новымъ человѣкомъ таинственныя письма на высокихъ скалахъ Енисея.

Кто ты, безымянный, трижды мертвый народъ? Какъ ты жилъ, о чемъ думалъ, во что вѣрилъ, гдѣ потомки твои?.. Могилы молчатъ, люди забыли.

Тиха и мертва огромная Абаканская степь. Безоблачное раскаленное небо, зноемъ пышущая, рас трескавшаяся отъ жары земля, низкая выжженная степная трава, сумрачною толпой уходящія вдаль темныя горы и могилы, могилы кругомъ... Бѣлыми пятнами блеснуть на солнцѣ солончаки, голубою пеленой глянетъ въ голыхъ берегахъ горько-соленое озеро, мелькнетъ между могилами на степномъ холмѣ, Богъ знаетъ откуда взявшаяся, хилая березка съ опущенными вѣтвями и завядшими листьями, тонкою струей станетъ вдали синій дымокъ, какъ свидѣтельство одинокой людской жизни, гдѣ-то теплящейся въ безлюдной степи,—и опять вправо

и влѣво, куда только глянетъ глазъ, горячее синее небо, раскаленная земля, безконечный ковыль, безконечныя могилы...

Вотъ, какъ ураганъ, пронеслось по степи стадо въ нѣсколько тысячъ полудикихъ коней. Съ дикимъ ржаніемъ, съ раздувающимися поздрами и развѣвающимися гривами бѣшено мчатся они къ своему водопою, и степь дрожить подъ ногами ихъ. Исчезли изъ виду кони, — тихо и пусто въ степи, только земля еще гудитъ, да узкая полоса поднятой пыли далеко тянется и долго стоитъ въ неподвижномъ воздухѣ. Вотъ показалась между могилами сонная фигура качинца *). Опустивши голову на грудь, онъ медленно покачивается въ сѣдлѣ и тянетъ свою безконечную, тихую, какъ журчанье горнаго ручья, пѣсню. Онъ въѣхалъ на бугоръ; узкіе сонные глаза его раскрываются и лѣниво смотрятъ въ раскаленную степь; голова съ черными, какъ уголь, и жесткими, какъ конская грива, волосами запрокидывается назадъ и дикіе, какъ ржанье степного коня, звуки вырываются изъ горла, странно гремятъ и далеко разносятся по степи; снова опускается голова на грудь, рѣзко обрывается и

*) Такъ называемые „качинскіе татары“—одно изъ полудикихъ и полуязыческихъ племенъ, обитающихъ въ настоящее время въ Абаканской степи. Много любопытнаго о прошломъ степи читатель найдетъ въ обстоятельной статьѣ Д. Клеменца, приложенной, въ качествѣ вступленія, къ изданному Минусинскимъ музеемъ каталогу: „Древности Минусинскаго музея“.

падаетъ голосъ — и снова, какъ журчащій ручей, тихо льется заунывная пѣсня. Еще разъ мелькнула изъ-за могилъ темная голова, долетѣлъ издалека послѣдній звукъ пѣсни, и опять степь пуста и тиха, только саянскій орелъ медленно плаваетъ въ синей выси безоблачнаго неба, да Енисей глухо плещетъ сонною волной...

Ночью, когда встанетъ надъ горами луна, оживаетъ степь. Станный шумъ наполняетъ ее, словно неясный говоръ тысячъ голосовъ, словно смутный шорохъ гдѣ-то далеко идущей толпы. Закроется луна набѣжавшимъ облакомъ — и странныя тѣни побѣгутъ между могилами. Прозвенитъ испуганный крикъ птички, словно полужадавленный человѣческій стонъ, и степь замолчитъ, насторожится, прислушается. А горы подошли ближе и обступили степь, и смотрять на нее своими темными головами. Могильные камни выросли и стоятъ словно люди, словно сторожевые воины въ спящемъ лагерѣ, ждущіе, что вотъ загремитъ вѣстовая труба и проснутся спящіе люди, заблеститъ бронзовое оружіе и громомъ пронесется по степи крикъ миллионной толпы...

Смутный говоръ все несется изъ степи; неподвижно стоятъ могильные камни; какъ чье-то блѣдное лицо, смотритъ изъ-за могилъ уголь озареннаго луной озера... Степь замерла, полная тревоги, ожи-

даній, какой-то смутной тоски, а Енисей все говорить, все что-то шепчет...

Встанетъ солнце надъ степью, пропадутъ ночныя привидѣнія—и снова неподвижно стоятъ обросшіе мхомъ старые могильные камни, стоятъ безмолвные, печальные, забытые.

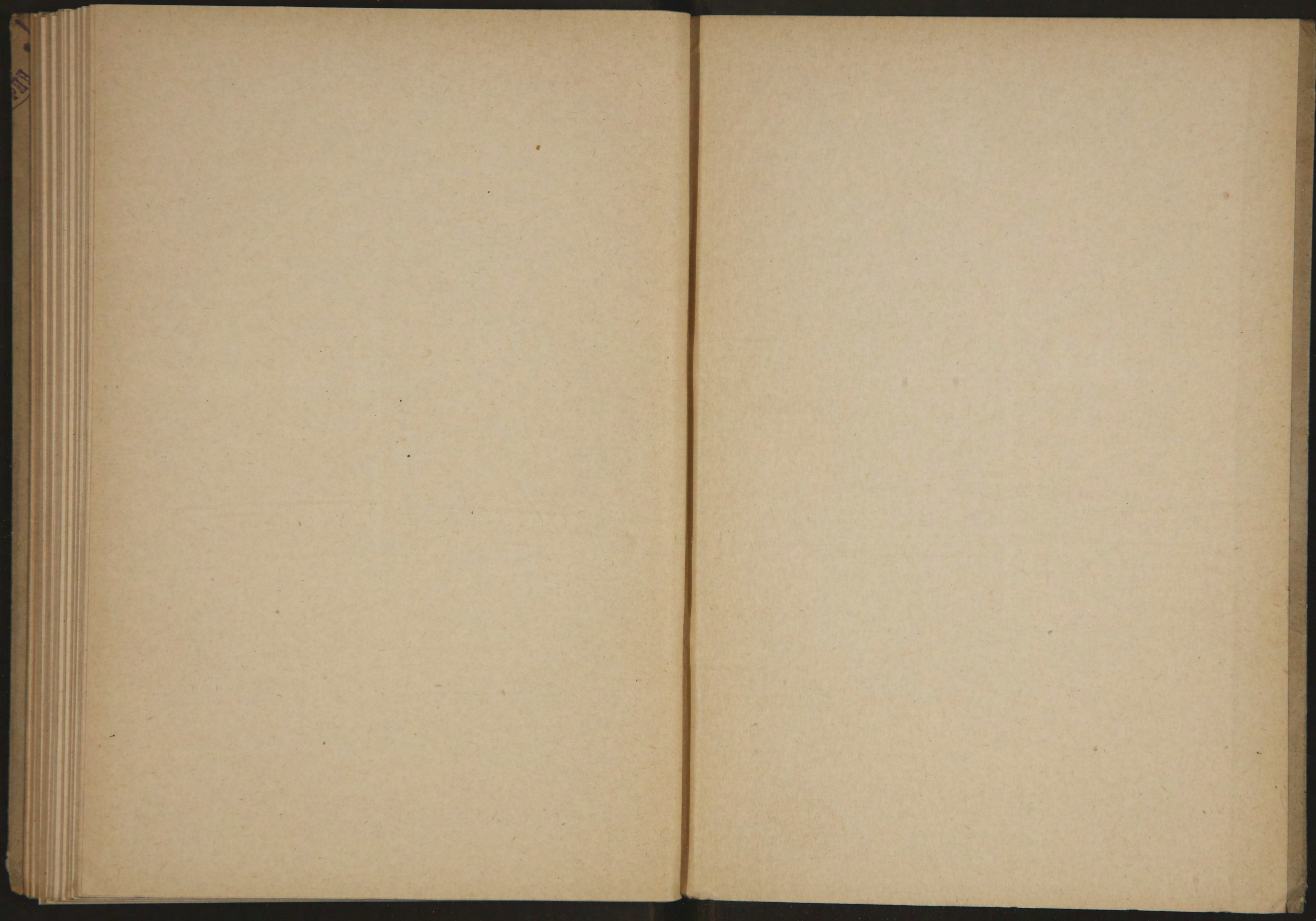
Только горы, которыя все видѣли, и Енисей, который все помнить, да вѣтеръ, что день и ночь носится по свѣту и знаетъ всѣ старыя исторіи, — только они одни время отъ времени вспоминаютъ далекое прошлое...

Тогда облаками, какъ бѣлымъ саваномъ, окутываютъ горы свои вѣчныя лица и острые пики дымятся, какъ жертвенники: тогда вѣтеръ, какъ безумная мать, съ безумнымъ плачемъ носится по степи; тогда встаютъ сѣдыя волны стараго Енисея и глухо ропщутъ, и тяжело бьются о пустынный берегъ... Въ ужасѣ мечется степная березка и гнется до земли, и снова встаетъ, и, какъ умоляющій человѣкъ, протягиваетъ свои руки-вѣтви, и печальный ковыль съ робкою лаской припадаетъ къ холоднымъ плитамъ, могильные камни дрожатъ и гудятъ, гудитъ и земля, словно тамъ, въ глубинѣ ея, старые люди ворочаются въ старыхъ могилахъ.

Тихо и пусто кругомъ. Все могилы, могилы...

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	<i>Стр.</i>
1. До Томска	1
2. Отъ Томска	15
3. Жиганы	31
4. «Уголовные дворяне»	54
5. Маскарадъ въ Тайгинскѣ («Уголовные дворяне»).	75
6. «Отлетаетъ мой соколикъ» (Изъ каторжныхъ пѣсенъ). Быль	93
7. Савелій (Изъ воспоминаній моего пріятеля) .	108
8. «Окаянный городъ»	160
9. Абаканская степь	183



Цѣна 1 рубль.